

Протоиерей  
Гомаюнов Сергей

# «ВНИДИ И В МЕНЯ, ГОСПОДИ!»

*Вера и Церковь  
в творчестве И.С.Шмелева*



ББК 83.3 (2Рос=Рус) 1-8 Шмелев И.С. + 86.372  
Г 64

**Г 64 Гомаюнов, Сергей Алексеевич**

«Вниди и в меня, Господи!» : вера и церковь в творчестве И. С. Шмелева / Сергей Гомаюнов. – Вятка [Киров] : Буквица, 2009. – 128 с. – 300 экз.

Взгляд автора – священника - на творчество и жизненный путь И.С. Шмелева не только литературоведческий, но, прежде всего, церковный. Кроме этого, в заключении автор касается животрепещущей темы – воспитывающего образования и роли литературы в становлении человека.

Книга предназначена преподавателям литературы и всем, кто интересуется словом.

ББК 83.3  
Г 64

## *Введение*

Иван Сергеевич Шмелев – писатель, который современному массовому отечественному читателю стал известен относительно недавно. В советское время его произведения в нашей стране почти не печатались. Сегодня положение изменилось, но для многих Шмелев остается автором нескольких произведений, среди которых – «Лето Господне», «Богомолье». Прежде всего, благодаря этим книгам Шмелев воспринимается как православный писатель. Нет недостатка в оценках этих произведений, выраженных в самой превосходной форме. Не занимаясь обильным цитированием, приведем некоторые из них.

В 1950 году известный русский историк А.Карташев так откликнулся на смерть писателя: «Как бы там ни судили академики от литературы о писательском наследстве Шмелева, это их право и компетенция, но есть и не избудет около Шмелева еще другой, массовый, читательский суд. И вот тут-то произошло нечто довольно редкое, я бы сказал, исключительное. В нашей новейшей литературе еще небывалое. Шмелев, и сам того не подозревая, попал в некую, не литературно-формальную, а духовно-биологическую точку. Он спустился в недра русского простонародного церковного благочестия и там попал во власть суда, ни от каких академий не зависящего, суда собора церкви народной. Суд этот не боится переоценки ценностей. Критерий его устойчив, тысячелетен, неизменен. Там Шмелева признали своим и почти уже канонизировали. Так массовая читательская оценка слилась с оценкой церковной. А это факт тяжеловесный. От него не отмахнешься ни замалчиванием, ни непризнанием. Соборно-церковная оценка

лишь в последнюю очередь эстетическая, художественная. А в первую голову – учительная, назидательная, горе-возносящая. Она признала Шмелева учителем. Так претендент на светского «учителя жизни» превратился в учителя церковного. У людей па ночном столике наряду с молитвословом и Евангелием лежат томики «Лета Господня», как прежде лежали «Жития святого» Дмитрия Ростовского. Это уже не литература... Это «душа просит». Это утоление голода духовного».

Столь же высокую оценку творчеству И.С.Шмелева дал его друг, замечательный русский философ И.Ильин: «Свое», лирическое, сказовое Шмелев обретает уже в «Неупиваемой чаше» и «Чужой крови», однако с наибольшей силой сокровенно шмелевское раскрывается в его эмигрантском творчестве и прежде всего в «Богомолье» и «Лете Господнем»... Великий мастер слова и образа, Шмелев создал здесь в величайшей простоте утонченную и незабываемую ткань русского быта, в словах точных, насыщенных и изобразительных... здесь все лучится от сдержанных, не проливаемых слез умиленной благодатной памяти. Россия и православный строй ее души показаны здесь силою ясно-видящей любви».

Современное восприятие этих произведений Шмелева не претерпевает изменений. Так, литературовед Л.Брегеда отмечает: «Лето Господне» – кто из православных не зачитывался этой книгой, испытывая дивные ощущения, схожие с описанными автором ... Не только для новоначальных, а и для людей невоцерковленных «Лето Господне» часто превращается в энциклопедию православной веры, жизни семьи православной».

Обобщенную характеристику дает писатель В.Распутин: «Шмелев, может быть, самый глубокий писатель русской послереволюционной эмиграции, да и не только эмиграции... писатель огромной духовной мощи, христианской чистоты и светлости души. Его «Лето Господне», «Богомолье», «Неупиваемая Чаша» и другие творения – это даже не просто русская литературная классика, это, кажется, само помеченное и высветленное Божьим Духом».

Очевидно, что общее согласное мнение об этих произведениях И.С.Шмелева заставляет с уважением и вниманием отнестись

к ним, чтобы прикоснуться к настоящей русской литературе. В то же время тема Церкви, веры, их места в жизни отдельного человека и в целом русского общества не может оставить равнодушным всех, не только литературоведов, но и тех, кому вера и Церковь также дороги. Обращение к духовной стороне жизни возлагает на писателя особую ответственность: читатель вправе ждать от него только *правды*. Речь идет не о прототипах литературных героев, хронологии или географии. Речь идет о той правде, которую узнаёт, ощущает как самоочевидную, сердце верующего человека. И если Христос сказал о Себе: «Я есть путь и истина и жизнь» (Ин.14:6), то правда – это явление Истины во всех аспектах жизни мира. Правда – не как субъективное представление мыслителя о том, что такое реальность «на самом деле», но ее укорененность в восприятии мира как творения Божия, который призван жить по Его законам, а если не хочет, то все равно – относительно Его законов – вот что должно быть присуще человеку, которого мы называем православным писателем. Особенность этой правды в том, что она не может быть «полуправдой», «правдой отчасти». На глубине такой «полуправды» лежит соблазн подменить Истину мифом, одетым в фразы, наполненные отсылками к христианству. Из истории XIX-XX вв. мы знаем, что многие, слишком многие творцы отечественной культуры, как в России, так и в зарубежье, не смогли избежать и потом преодолеть этот соблазн.

Предлагаемый вниманию текст не имеет литературоведческого характера. Он появился как мое, одного из многих читателей, отношение только к одной теме в произведениях И.С.Шмелева: вера и Церковь в жизни человека, и в судьбе нашего Отечества. И эта тема рассматривается с позиции Церкви.

Можно предвидеть законный вопрос: насколько уместно художественные произведения рассматривать с такой точки зрения? Ведь художественная литература – не богословие, являющееся уделом Церкви. Можно ли требовать от писателя богословской точности? Нам кажется, что если писатель неоднократно и не вскользь поднимает тему веры и Церкви, мы вправе ждать от него не богословия, но той самой правды, которая, изливаясь из цер-

ковного источника, напоила и напитала подлинно русскую культуру. Правда – это попытка увидеть себя глазами Божиими, увидеть в ту меру, в которую каждому дано, ее сымитировать невозможно. Такая правда способна засветиться изнутри художественных произведений, воодушевить, утешить, поддержать, вселить надежду.

Находим ли мы эту правду в произведениях Шмелева? Нашел ли он ее сам? Ответить на этот вопрос можно только обратившись ко всему творческому наследию писателя, рассмотрев его целиком в свете Христовой правды, чтобы понять его целиком, а не «отчасти», и через это обернуться к себе и в свете той же правды увидеть свою жизнь.

### ***«Верилось, что Бога человечество родит»***

В «Автобиографии», появившейся накануне 1 мировой войны, Шмелев рассказывает, что происходил из крестьянского рода подмосковных крестьян. Его предки в XVII в. были старообрядцами и славились как знатоки веры, начетчики. Они участвовали в раскольнических прениях. Прадед его стал выбиваться в число зажиточных, занимаясь торговлей. Дед продолжил, добавив подряды на строительство. Отец пошел по этим же стопам, занимаясь ко всему устройством праздничной иллюминации, держал портмойни, купальни, лодки, бани и т.д. Шмелевы оставили раскол и воссоединились с Церковью. Но печать старообрядчества осталась в укладе семьи навсегда: главное – соблюдение традиции, авторитет которой подкрепляется больше древностью, а не личным живым духовным опытом.

Свою роль сыграло и то, что в 7 лет Иван потерял отца. Мама Евлампия Гавриловна была человеком жестким. Она считала верным средством воспитания сына порку. Пороли Ивана три раза в неделю, да так, что потом ему было стыдно показываться в бане. Первой собственной молитвой Ивана стала молитва об избавлении от порки. Возвращаясь из гимназии, мальчик заходил в часовню Николая Чудотворца у Большого Каменного моста и, жертвуя редкую копеечку, просил угодника, чтобы поменьше пороли.

В письме Шмелева к ставшей в эмигрантские годы его близким другом Ольге Александровне Бредиус-Субботиной писатель приводит один эпизод детства: «И еще помню – Пасху. Мне было лет 12. Я был очень нервный, тик лица. Чем больше волнения – больше передергиваний. После говенья матушка всегда – раздражена, – усталость. Разговлялись ночью, после ранней обедни. Я дернул щекой – и мать дала пощечину. Я – другой – опять. Так продолжалось все разговение (падали слезы, на пасху, соленые) – наконец, я выбежал и забился в чулан, под лестницу, – и плакал». Такое ненормальное сочетание религиозности и нечувственности к страданию ближнего, которое Иван находил у своей матери, воспринималось им как норма, и сформировало настроение протеста против неправды и насилия, связавшихся как-то в его сознании с Церковью.

Что он получил в детстве? Мог ли считать себя с детства верующим человеком? В разные периоды своей жизни писатель по-новому осмысливал эти годы. Сначала ему не припоминалось из детства ничего, что отличает простую, удивительно радостную детскую веру, каковой она бывает, когда Бог так близок детской душе. В «Автобиографии» эта сторона детских впечатлений описана скупо: «В доме я не видал книг, кроме Евангелия, которое нас, детей, заставляли читать постом, и молитвенников, по которым я изучал молитвы, не понимая смысла церковных слов. В многочисленных поминаньях были картинки, где изображалось шествие душ по мытарствам, черти в огне, грешники, старающиеся вырваться из пламени. Это оставило впечатление страха и жуткой тайны» (III, 504). Написанная годом раньше повесть «Распад», в которой рассказ идет от лица ребенка и воспроизводит многие черты уклада жизни семьи Шмелевых, также лишена этого радостного восприятия встречи в детстве человека с живым Богом. Гораздо позже, когда обрушившиеся основания жизни побудили по-новому взглянуть и на то, что уже было в прошлом, Шмелев обнаруживает многое из того, что ему стало *сейчас* дорого в его детстве. Так появится «Лето Господне». Но это будет потом. А начало его писательской судьбы складывалось следующим образом.

Еще в годы учебы в гимназии Шмелев увлекается чтением. Особую роль сыграли эпизодические встречи с А.П.Чеховым, в котором ему виделся страдалец и народный заступник. Любимым учителем был преподаватель словесности Ф.В.Цветаев, дядя М.Цветаевой. Под его влиянием значительно расширился круг чтения юного гимназиста. «Короленко и Успенский закрепили то, что было затронуто во мне Пушкиным и Крыловым, что я видел из жизни на нашем дворе. Некоторые рассказы из «Записок охотника» соответствовали тому настроению, которое во мне крепло, — отмечал он в автобиографии. — Это настроение я назову — чувством народности, русскости, родного. Окончательно это чувство во мне закрепил Толстой»<sup>1</sup>. Тогда же происходит первая проба пера.

В гимназии Шмелев имел возможность познакомиться еще с одним выдающимся человеком — диаконом Алексием, впоследствии ставшим известным старцем Зосимовской пустыни, святым Русской Православной Церкви. Он приходил в школу на молебны. Дьякон Алексей был литературно и философски образованным человеком. Цветаев говорил о нем: «О, он всего Достоевского ... пере-же-вал! И всего — Соловьева... и — всех “гностикив-хвостиков”... му-дрец!» Но не диакон Алексей, а Л.Толстой занял тогда ум и сердце юного гимназиста.

Осенью 1894 года Шмелев поступает на юридический факультет Московского университета. В молодости его убеждения круто менялись от истовой религиозности к сугубому рационализму в духе шестидесятников, от рационализма — к идее нравственного самоусовершенствования. Важнейшей чертой этого мировоззрения является отрицательное отношение к Церкви в лице ее священства и монашествующих, к уставному строю ее жизни, Таинствам, скрывавшим от взгляда, тронутого неверием, сокровенную глубину святости и прямой путь единения человека с Богом. Церковь воспринимается как помеха для человека, в свободном порыве души ищущего Бога и общения с Ним. Это ярко проявилось в одном из первых серьезных произведений Шмелева как начинающего писателя.

---

<sup>1</sup> Русская литература, 1973, № 4, с. 144.



## «На скалах Валаама»

Очерк написан по следам поездки на Валаам летом 1895 года. И.С.Шмелев только что женился на Ольге Александровне Охтерлони, дочери генерала, героя обороны Севастополя в Крымскую войну.

Позже в рассказе «У старца Варнавы<sup>2</sup>» Шмелев вспоминал об обстоятельствах поездки: «И вот мы решили отправиться в свадебное путешествие. Но - куда?... Петербург? ...Ладога, Валаамский монастырь?.. туда поехать? От Церкви я уже шатнулся, был если не безбожник, то никакой. Я с увлечением читал Бокля, Дарвина, Сеченова, Летурно... Я питал ненасытную жажду «знать»... это знание уводило меня от самого важного знания - от Источника Знания, от Церкви. И вот в каком-то полубезбожном настроении, да еще в радостном путешествии, в свадебном путешествии, меня потянуло... к монастырям!» (VIII, 539)<sup>3</sup>.

Очерк показывает, как далек был пока еще И.С.Шмелев в свои 22 года от понимания Церкви. Валаам с его монастырями, святыми и святынями был одним из самых дорогих для русского человека мест в России. Туда ежегодно устремлялись тысячи паломников со всех концов страны. Едет туда и Шмелев со своей молодой женой, но едет не как паломник, а как путешественник. По окончании своего пребывания на Валааме он искренне признается монаху Антипе, несущему гостиничное послушание: «По правде сказать, ваш Валаам, ваша жизнь здесь пролила свет на многие, раньше для меня темные вопросы. Я не понимал раньше ваших деятелей, подвижников, схимонахов. Скажу более: при первых моих шагах по этим скалам я иронически смотрел на эту никому не нужную жизнь аскетов в лесах» (I, 471). Все здесь важно: «ваш Валаам», «Я не понимал раньше *ваших* деятелей». А ирония не оставляла автора до конца поездки.

Пространно и красочно описана в очерке природа русского

---

<sup>2</sup> Преп.Варнава Гефсиманский (Меркулов; 1831-1906), иеросхимонах.

<sup>3</sup> Ссылки на произведения И.С.Шмелева даются по: Шмелев И.С. Собрание сочинений: в 12 т. М., 2008. Римской цифрой обозначается номер тома, арабской – номер страницы.

Севера. Но почти не находится столь же сильных и добрых слов о людях, которые здесь живут и сюда стремятся. Не ощущая и не понимая внутреннего духовного содержания жизни этих людей, писатель воображает его в самых мрачных тонах, поэтому даже внешне в своем облике и поведении они ему не симпатичны.

Начинается путешествие на Валаам на пароходе «Петр II». Пока внимание писателя приковано к природе, он создает зримые и яркие картины своих впечатлений. Но вот внимание переключается на людей, с которыми ему приходится вместе ехать. Сразу меняется тон и язык. Прежде всего, ощущается неприятие к ехавшим на пароходе монахам. Чувствуется недоверие Шмелева к их словам, манере поведения, за всем он видит притворство, игру в благочестие. Передавая их разговор, автор не находит в себе уважения к ним настолько, что одного из них сводит только к детали облачения – скуфейке. Шмелев намеренно использует язык, избилующий церковно-славянскими словами, но в данном контексте он принимает вид пародии.

«Благообразный черненький монашек, видом напоминающий грека, с юркими глазами, чинно раскланивается с монахом в грубой потертой ряске. Лицо у монашка изображает смирение и покорность судьбе: совсем агнец. Даже новенькая и чистенькая ряска сидит на нем особенно смиренно, не тарашится в стороны, не задевает за ноги проходящих. Одна ручка трет другую.

- Куда вы, отец... - заминается скуфейка и вопросительно смотрит на скромного монашка.

- Амфилохий... - поет монашек.

- Как-с? Не дослышал... - вопрошает скуфейка.

- Амфилохий... - тон-в-тон, с оттенком печали выпекает монашек.

- Куда же вы изволите ехать, отец Амфилохий?

- На Валаам... узреть красоту дивную, неизреченную... Господу послужить... - поет отец Амфилохий и смотрит на пассажиров.

- Так-с, - испытующе говорит валаамская скуфья, как бы не доверяя чистенькой ряске. – Только трудно у нас, жизнь тяжелая... Труды, молитвы, пост. Подвиг не всем-то достижимый и, можно сказать, для кого и невозможный...

Скуфья, очевидно, намекала на смиренного монашка.

- Для Господа... - поет тот. – Кто на Афоне бывал, и на Валааме жив будет... - возвышает голос монашек.

Богомольцы с благоговением взирают на него.

- Много ли нужно нам?... Лишь бы просуществовать!..

Скуфейка-искуситель побеждена: монашек смирением сердца покори́л и получил приглашение на чай от компании торговцев» (I, 315-316).

Не вызывают симпатий писателя и ехавшие на пароходе паломники. Для него – это толпа людей, они сидят, лежат, распивают чаи из жестяных чайников, ведут пустые разговоры. «В углу под образами компания торговцев в лаковых сапогах и длинных пиджаках с жадностью пьет чай и потеет». В глаза бросается их уродливость: толстая дама, заплывший жиром купец в засаленном глянцеви́том сюртуке с мясистой физиономией. Симпатичны только прислужницы финки в синих юбках и красивых полосатых передниках, «очень недурные блондинки». Но и к ним пристаёт подвыпивший купец-паломник. Только с палубы третьего класса слышится распеваемая кем-то молитва, для путешественника она звучит печально.

Первая остановка – остров Коневец, где стоит Коневецкий монастырь, основанный преподобным Арсением. По преданию, до этих мест доходил святой апостол Андрей Первозванный. Но священное предание воспринимается Шмелевым лишь как сказочный голос старины, а также повод завлечь сюда паломников для получения материальной выгоды, так как местный монастырь уступает более успешному Валааму.

Во всем путешественнику слышится печаль: «День за днем раздаются с желтенькой колокольни печальные ноты монастырского благовеста, и, послушные им, бредут монахи в церковь, на очередную молитву, и так постоянно, целую жизнь, без просвета, без грез, без желаний... Вечная дума о смерти» (I, 327). Шмелеву представляется, что монахи усердно прячут в глубине своего сердца настоящие свои желания, стремления. «Суровая природа и тяжкая атмосфера монастырской жизни поглотила свойства человеческого духа. И мне стало жалко человека, ко-

торый притаился в нем под монашеской ряской, стало жаль человеческое сердце» (I, 330). А вот впечатления от монастырской службы: «Старенький, едвадвигающийся монах, разинув от слабости рот, еще более старый при слабом мерцании огоньков, ставит обеими руками дрожащую в них свечку... Гнусавым голосом читает монах молитвы... По стенам стоят черные фигуры монахов с надвинутыми на глаза черными клобуками, и от этих черных фигур еще более увеличивается мрак храма... Вот вся их жизнь: ходить по звонку, в известные часы снимать клобук, в известное время идти в церковь, молиться, думать о смерти и ждать конца. Мне они казались уже не живыми людьми, а умершими, которые в полуночный час встают из гробов и собираются на молитву» (I, 347).

Все перевернуто в таком восприятии: смертью называется то, что содержит в себе невидимую вне Церкви жизнь, а жизнью то, что волнует чувства и вызывает порывы страсти. Потому и не может понять автор, что значит опыт отцов «памятования о смерти». И не чувствует он в монахах этой невидимой жизни, которая им дорога. А чудится ему, что с ним разговаривает сама смерть. Он спешит уйти от монаха-старца: «Могилой пахло от него, от его слов, от звука его глухого голоса» (I, 399). Побывав в скиту, он опять торопится: «Я с грустью окинул взглядом каменные стены и башни, воздвигнутые для борьбы с грехом, и вышел из этой громадной могилы живых людей, чтобы никогда более не вступать в нее» (I, 451). Именно об этом говорил апостол Павел: «Мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь» (2 Кор.2:15-16). Вслушаемся: Христово благоухание для одних – «запах живительный на жизнь», а для других оно же – «запах смертоносный на смерть».

Особенно возмущает Шмелева то, что монастырские порядки распространяются и на юных послушников. Ему показывают работу по росписи храма, в которой заняты подростки. «Замечу, - пишет Шмелев, - в какие ненормальные условия поставлено их обучение. Суровый устав, гласящий, что праздность – злейшее зло, применяется и к этим росткам человечества, живая натура

которых просит игр, тепла, света, ласки... Какие они все бледные, почти прозрачные!.. В шесть часов встают и работают некоторые обязанности по кухне (чистка рыбы) и отдыхают. С двенадцати до трех рисуют, потом час на чай и опять работа до семи-восьми часов вечера. Целый день работы, сидя на одном месте, в согнутом положении, в атмосфере, переполненной запахом краски и масла, и когда же? – в летнюю пору, когда солнце так весело играет в синих проливах, отдыхая на зеленых вершинах соснового леса, когда воздух так прозрачен, что залетевшая в глубокую синеву ласточка ясно видна, когда от скал, лесов, вод, даже от скучных зданий монастырских веет жизнью... А бедные монашеские лица сидят среди пыльных подмостков и едят, и тушат, и мажут, мажут, и, кажется, никогда не будет конца этой их муке...» (I, 372-373).

Шмелев искренне жалеет монаха Алипия, в прошлом талантливого художника, а сейчас иконописца, добровольно оставившего свое мирское занятие. И объясняет это так: «Валаам мощной рукой сурового духа сжал талант, мысль, душу когда-то брата Алексея, теперь отца Алипия, пришиб художника. Отец Алипий порвал с миром, перестал восторгаться природой, похоронил свою впечатлительную душу; он пишет теперь только строгие лики святых, он навсегда вошел в колею суровой валаамской прямолинейности. Были легкие вспышки, попытки видеть в себе еще живого человека..., но Валаам победил...» (I, 447). По всему чувствуется, что автор очерка старается удержать внутреннюю дистанцию от всего, что видит, чтобы Валаам и в нем не «пришиб художника». И он удержался. Валаам его не победил.

Единственное, о чем с нескрываемым уважением пишет Шмелев, это трудовые успехи валаамских монахов. Он удивляется размаху их хозяйственных дел, чудесам инженерной мысли, продуманности всякого дела. Но дела их могучего духа остались скрыты от него. Прав был современник Шмелева преп. Варсонофий Оптинский, говоря: «В монастыре – труды, но и высокие утешения, о которых мир не имеет ни малейшего представления... Сильно работает диавол, желая отвлечь от служения Богу, и в миру он

достигает этого легко. В монастыре же ему бороться труднее; оттого дух злобы так ненавидит монастыри и всячески старается очернить их в глазах людей неопытных»<sup>4</sup>.

Подсмеиваясь над монахом Феодулом и называя его философом, путешественник передает его слова, не понимая, что монах говорит правду: «Вот наша пустыня – вся тут. Леса темные, кресты гранитные, церкви среброглавые, крестами увенчанные... Святые места... Тишина у нас, покой праведный душам. А кой человек с воли – дух-то в нем ходит непокойный – и нет ему у нас мира. Тихие обители не принимают его мятущегося духа... Своеволие в нем... Так-то вот...» (I, 380-381).

Словно продолжая эту мысль, святитель Иларион (Троицкий) в одной из своих статей напишет: «Жизнь в Церкви иссякнуть никогда не может, ибо до скончания века в ней пребывает Дух Святой (Ин.14:16). И жизнь в Церкви есть. Только бесцерковные люди не замечают этой жизни. Жизнь Духа Божия не понятна человеку душевному, она кажется ему даже юродством, ибо доступна она человеку только духовному. Нам, людям душевного склада мышления, редко дается ощущение церковной жизни. А между тем и теперь люди, сердцем простые и жизнью благочестивые, постоянно живут этим ощущением благодатной

---

<sup>4</sup> Преп. Варсонофий Оптинский. Беседы. Келейные записки. Духовные стихотворения. Воспоминания. Письма. «Венок на могилу Батюшки». Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина Пустынь. М., 2009, с.16, 86. Об отношении к монахам у образованной части общества свидетельствует личный опыт самого преп. Варсонофия. Когда он еще был в миру и служил по военному ведомству, будучи в Казани, решил исповедаться в монастыре и причаститься Святых Христовых Тайн, а потом часто стал посещать этот монастырь «к смущению своих сослуживцев». С этого времени, вспоминает преп. Варсонофий, «мир восстал на меня. Начались бесчисленные толки о моем странном образе жизни. «Что это с ним случилось? Он, принятый во многих аристократических домах, у Обуховых, у Молоствовых, находит удовольствие в беседах и чаепитии с монахами. – Да он просто с ума сошел! – Однако начальство им довольно, служба у него идет прекрасно, чины съязят за чинами, отличия за отличиями», – поднимается робкий голос в мою защиту, – «И пост он занимает ответственный... – Ну уж не знаю, как это происходит, а только он с монахами познакомился». Последний довод казался таким убедительным, что умолкли голоса, пробовавшие защитить меня, и все успокоились на одном выводе: сердечно его жаль, а умный был человек» (Там же, с.60-61).

церковной жизни. Эту церковную атмосферу, это дыхание церковное особенно ощущаешь в монастырях»<sup>5</sup>.

С чем уехал с Валаама Шмелев, которому тогда уже было за 20? Какой сердечный опыт он там приобрел от встречи с валаамскими монахами? Он искренне пытается в этом разобраться, и, оставив иронический тон, признает, что ему (точнее «нам», то есть его поколению, его кругу людей, образованному, интеллигентному сословию, творцам современной культуры) «чужды их стремления, аскетизм их ужасен». Вызывает уважение сила их духа, с помощью которого они стремятся достичь нравственного совершенства. Она заставляет подумать, а «есть ли у нас хотя бы подобие этой силы, хотя слабый намек на нее?» (I, 458). Мало, слишком мало и невнятно легло на сердце. Ни в детстве, ни в юности, ни в молодости Шмелев не чувствовал своей причастности, включенности в глубокую и живую церковную традицию. Потому так неоднозначно отношение главных героев его рассказов и повестей раннего литературного творчества к вере и Церкви. Слово и о нем говорил преп. Варсонофий Оптинский: «Огромное большинство наших лучших художников и писателей можно сравнить с людьми, пришедшими в церковь, когда служба уже началась и храм полон народа. Встали такие люди у входа, войти трудно, да они и не употребляют для этого усилий. Кое-что из богослужения доносится и сюда: «Херувимская песнь», «Тебе поем», «Господи помилуй»; так постояли, постояли и ушли, не побывав в самом храме. Так и поэты и художники толпились у врат Царства Небесного, но не вошли в него. А между тем, как много было дано им для входа туда!»<sup>6</sup>

О судьбе книги путевых очерков «На скалах Валаама» Шмелев в «Автобиографии» написал: ««Я никуда ее не посылал – издал сам. Изданная без предварительной цензуры, она была задержана по распоряжению Победоносцева. Пришлось вырвать листы и перепечатывать. Журнал «Новое слово» разнес книгу,

---

<sup>5</sup> Свмч. Иларион (Троицкий) Христианство или Церковь? // Он же. Без Церкви нет спасения. М.-СПб., 1999, с. 113.

<sup>6</sup> Преп. Варсонофий Оптинский. Указ. соч., с. 87.

взглянув на нее с марксистской точки зрения (трактовался вопрос об общине), «Русская мысль» отметила достоинства языка и описаний. Книга села, и я продал ее букинистам. Это меня подкосило, я бросил думать о писательстве» (III, 508-509). Перерыв в творчестве затянулся на целое десятилетие.

После окончания университета и года военной службы Шмелев 8 лет служит чиновником по особым поручениям Владимирской казенной палаты Министерства внутренних дел. Он много ездит по уездам, знакомится с жизнью самых разных народных слоев.

Желание писать вновь берет свое. Рассказы, повести Шмелева появляются в печати, его хвалят за прекрасный богатый язык, несомненный талант художника слова. Герои его произведений – люди очень разные, у каждого своя сложная судьба. Некоторые из них в моменты жизненных испытаний открываются со стороны своей веры. И через эти судьбы перед нами открывается и Россия, такая разная в своих сыновьях и дочерях, Россия стоявшая на пороге крестных страданий, в которых одни будут сломлены, потеряются в хаосе всё разрушающей революционной бури, другие прилепятся всем сердцем своим ко Христу, несущему Крест, и вместе с ним достойно встретят всё, им благословленное как жизнь и как смерть.

### **«Распад» (1910)**

Повесть была одним из первых художественных произведений, в котором писатель заговорил о вере и ее месте в жизни человека. Для последующего творчества Шмелева она во многом стала определяющей. «Распад» - это точное имя эпохи, в которую довелось жить писателю. На его глазах сдвинулось с места и рухнуло то, что еще полвека назад мыслилось незыблемым: государство во главе с православным самодержцем, строй жизни с укладом, установленным многими поколениями, культура с ее евангельским основанием. Рушился не только строй. Распад, разлом прошелся по жизни каждого человека, по сердцу, нанося кровотокающие раны. Пришло испытание, в котором человек должен был обнаружить в



себе то, что удержит его от общего безумия, охватившего массы людей, что способно помочь перенести самые страшные потери и дать утешение в скорбях и печалях. Или не обнаружить, потому что это главное осталось почему-то лишенным силы, а может быть даже и незаметно для человека оказалось потеряно.

Семья Хмуровых показывает нам Москву торговую 80-х годов XIX столетия. В ее истории, несомненно, воспроизводятся реалии жизни семьи Шмелевых именно в тех образах, в каких запечатлелась та эпоха в душе юного Ивана. Это впечатление усиливается тем, что повествование ведется от лица мальчика Николая. Как непохоже будет повторное возвращение к детским годам, которое мы находим в «Лете Господнем». Во многом эти два произведения являются антиподами. Но у них один корень – детство и юность писателя. И чтобы после «Распада» написать «Лето Господне» писателю пришлось пройти путем такого страдания и таких потерь, которые буквально перевернули весь его внутренний мир.

Семья Хмуровых успешна, крепка и типична для своего времени. Ее глава – дядя Захар, владелец кирпичного завода, купец и подрядчик. Он весь в своих заводских делах и увлечениях: страстно любит объезжать «зверских лошадей» с особо диким нравом, которым и клички давал соответствующие: Подлец, Стервец, Мерзавец. Обладал недюжинной силой (рвал подковы), а также несдержанностью, так что многим доставалось от его буйного нрава. Но и у него есть тот, перед кем в сердце просыпается самое лучшее, что еще осталось – сын Ленька. Пока Ленька был мал, дядя Захар связывал с ним все свои мечты. Леньке давалась учеба, он занимался естественными науками. Из всех поколений Хмуровых он первым выходил в «образованные».

Дядя Захар ценит в человеке богатство, знание, физическую силу, крепкий характер. А вот вера пока никак себя не проявляет. Среди всех Хмуровых верующей является, пожалуй, только жена Захара Лиза, которая мужа боится, прощает его грубые выходки, открытые гуляния. Она находит силу терпеть, прощать и служить своей семье в молитве, храмах и монастырях. Но ее жизнь в повести почти не прописана, она как-то остается в тени.

Зато очень ярко показана мать дяди Захара бабка Василиса, считавшая себя образцом веры. «Бабка Василиса держит двух коров, сама ходит за ними и торгует молоком. Молока даром никому не дает, а продает даже семье, в которой живет, и всю недельную выручку носит по субботам в банкирскую контору, к родственнику, откуда обязательно отправляется на молебен к Иверской. У бабки, как все говорят, денег куры не клюют, дядя ждет наследства, но бабка грозитя, что переживет всех и никто от нее «ни эстолько вот» не получит» (I, 142). Мальчик Коля, от имени которого идет повествование, как-то на праздник Пасхи встречает ее. «Она даже в праздник возилась со своими кринками. Я было замялся, но все же сказал:

- Христос воскресе, бабушка!..

- Ну... некогда тут.. Воистину...

И принялась разливать молоко по крынкам» (I, 154).

О Боге по-настоящему в семье Хмуровых вспоминают только тогда, когда общий любимец Ленька заболевает скарлатиной, и врачи предполагают вероятную смерть. Ни медицина, ни народные средства не дают результата: Лене становится все хуже. После всего прибегают к последней надежде. Коля наблюдает из окна: «Вот подъехала шестерней синяя карета, распахивается «парадная» - и дядя Захар, страшный дядя Захар, как мальчик, без картуза, бежит на улицу, падает на колени и крестится большими крестами». Из кареты выносят Иверский образ Божией Матери, а также сундучок. Поразительно то, что описание происходящего дается так, как будто наблюдавший все это Коля ничего раньше подобного не видел и только сейчас узнает для себя что-то новое из церковной жизни. «Что же в сундучке? В сундучке, оказывается, «мощи» (так в кавычках в тексте – авт.), и в них особенная сила изгоняющая смерть».

Дядя Захар несет икону, «его голова поднята, лицо красное, в руке зажат платок... дядя плачет... Дядя Захар плачет!»

И потом каждый день во дворе Хмуровых новые кареты и новые иконы. Дядя Захар перестал ездить на завод. Он ходит по дому, зажигает лампадки, молится, не забывая при этом кричать на всех. Его помощник Александр Иванов «гоняет по монасты-

рям, служит какие-то задравные, возвращается темным-темно и здорово «заливает». Женщина из прислуги Домна «сообщила нам, что Лёнину рубашку возили в какой-то Кремль и клали на чей-то гробик».

Домна заставляет Колю молиться свт. Николаю за болящего Лёню. «Я смотрю на высокий киот, лоснящийся и пахучий. Никола в золотой шапке. Его коричневое лицо будто вздрагивает при мигающем свете лампы, точно он моргает, и водит бровями и щурится. Я боюсь этого строгого лица и не могу молиться. За стеклами все они точно живые, и я знаю, что они никогда не спят, а смотрят и всегда все видят и знают. Их запирают на ключик. Это мне нравится. Спать спокойней – и я каждый вечер, украдкой и затаив дух, становлюсь на стул и пробую ноготком, заперта ли рама. Все они у меня под наблюдением и все имеют особенный смысл. Вверху изображение Троицы в виде серебряных странников за столом под деревом. Эта икона напоминает мне обед в саду, дает мыслям хорошее настроение, и мне не страшно. Никола пониже. Его я боюсь: он напоминает мне отчасти дядю Захара, отчасти нашего старого диакона, всегда громко сморкающегося и гудящего. Совсем внизу – одинокий коричневый человек, в шкуре через плечо, с тонким, высоким крестом. Эта икона внушает мне неопределенно-смутный страх. Я молюсь, но не о Лёне. Я повторяю вереницу сливающихся молитв, загадочно-непонятных, безо всякого усилия прыгающих с языка, а сам думаю о *них*, стоящих за стеклами, стараюсь решить, как это *они* могут видеть и знать все» (I, 133-135).

Не вызывает в героях повести все, что связано с Церковью, радости, светлой надежды, благоговения, чувства встречи с живым, любящим Богом.

И все же «чудодейственная сила из Кремля победила смерть». Страх отступает. Надо благодарить. Знают, что благодарят через дела милосердия. Дела есть, а милосердия не видно. «Громадная толпа нищих гудит у крыльца, причитает, спорит и толкается, а Александр Иванов раздает из полотняного мешочка грошики в знак выздоровления Лени... Какие ужасные фигуры! Откуда их столько? Где они живут и почему на них такие лохмотья? Дядя

Захар выглядывает с галереи, вызывает какую-нибудь дряхлую старуху и калеку-старичка и бросает им деньги. Его лицо по-прежнему сурово: так же гордо торчит хохол, и моргает глаз.

- Александр Иванов! Гони этого дармоеда в шею! Третий раз, черт, лезет... Рожа, как бревно!.. В шею гони!..»

Внешне все сделали как надо. А кому надо? Совершилось чудо исцеления от смертельной болезни, но оно не приблизило сердца людей к Богу. Всё, как было, так и осталось. Не нашлось ни одного, кому Господь, как в евангельском рассказе об исцелении десяти прокаженных, мог бы сказать: «Встань, иди; вера твоя спасла тебя» (Лк.17,19). И происходит то, о чем говорится в Священном Писании: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого» (Мф.12, 43-45).

Беда отступила, и в доме все вернулось «на круги своя». Лёнька не слушается родителей. Дядя Захар кричит на него, обзывает и грозит. Бабка Василиса укоряет, что внук лба не перекрестит. Дядя Захар набрасывается и на нее: «А вам чего?.. Чего вам? Богу молитесь да деньги копите... Помирать вам пора, а вы треплетесь...».

Но самое страшное в том, что Лёня все дальше отходит от Бога. Он ведет странные разговоры, отказывается есть «постнятину», заявляет, что пойдет учиться в институт. Дядя Захар приглашает к нему батюшку. И вновь здесь у Шмелева появляется священник, который только и может, что еще дальше отвести от Церкви. Опять тот, кто служит в храме, показывается с отвратительной стороны. Например, описывая Пасху, Шмелев говорит, что в их доме все было, как всегда: «Столик с закусками у печки, ряд бутылок с разноцветными пробками, попы и монахи, монашки и деловые поздравители».

Приглашенный батюшка «ходит «с крестом», поет молитвы и потом долго пьет водку и закусывает». Все его увещание сводится к тому, что: «Господа-то Бога не надо забывать. А лучше

бы к своему дельцу... У папеньки завод кирпичный!..» После этого «батюшка опрокинул рюмку и залил скатерть». И стал делиться тем, что его сын также самоволен, учится, а потом ни Бога, ни царя не признает, отца не уважает. Кто «в студенты попал, уж из него антихрист выходит». Лёне все это неприятно, он уходит, бросив матери: «К черту всяких ваших попов!..»

Леня поступает в Технологический институт. Он заметно взрослеет, становится более серьезным. Тревога за него начинает отступать. Но так только до времени. Происходит событие, которое сдвинуло все в сознании русского общества: революционеры убили царя. Везде говорят о нигилистах, социалистах. И потом выясняется, что Леня оказался втянутым в революционную среду, занимался производством взрывчатого вещества для готовящегося теракта и погиб.

И только сейчас, когда зло так жестоко ворвалось в жизнь семьи Хмуриных, и ни сила, ни богатство, ни привычный уклад, в котором как будто было место и «церковному» - ничто не спасло сына, только сейчас пришла пора задуматься, почему так произошло, кто они, носители этого зла, как могло случиться, что замечательный Леня оказался среди них? И все равно главное не понятно. Дядя Захар, совсем обезумел от горя. Его мать призывает его: «Господа Бога вспомни!.. Вспомни Господа Бога!..»

В ответ неслось: «Дьявола!.. Дьявола!..»

Как можно было вспомнить Того, о ком никогда серьезно не помышляли в течение всей своей жизни? Потому и поминается совсем другой, совершенно незаметно угнездившийся в сердцах людей, а потом разом обрушивший все отношения. И ему не мешало чувствовать себя хозяином там, где внешне все принадлежало к Церкви и делали всё «как надо».

Повесть заканчивается тем, что повзрослевший Николай посещает родные места. Почти ничего не осталось от усадьбы Хмуриных. Почти все, кто окружал Николая в годы его детства, переселились в другой дом – на кладбище. Николай идет туда и там находит свой двор, «постепенно переползающий сюда на вечный покой». И здесь опять все «как надо». «Да, здесь примерный музей человеческого совершенства. Здесь всех почистили, опра-

вили в гранит и мрамор и осветили тихим огнем лампад». Вот место, где покоится прах «лихого похитителя девок – брата дяди Захара – под титлом: «блаженни чистии сердцем». А здесь рядом две могилки – Лени и бабки Василисы. «Они лежат рядом, такие далекие в жизни и такие близкие в гробах». Вокруг и другие обитатели двора.

При жизни делали все «как надо». Почему-то это не уберегло от страшной беды и не помогло ее перенести. И после смерти сделано все, как надо. Найдет ли душа покойного благодаря этому то, чего не успела найти в дни земной жизни? Изменила ли смерть состояние души? Шмелев не уверен. «Просвирки и сорокоусты, кутьи и заупокойные, девятыи и сороковые дни – все эти удобные и легкие пути, конечно, должны препроводить вас в места злачные и прохладные, где вы сейчас бы начали всю ту, подчас развеселую, иногда грустно-смешную суету, с которой вам так жалко было расстаться». Вас «поглотила тайна, которую вы и не чуяли, над которой вы и не задумывались».

Стоя перед этой тайной, писатель остро ощущает необходимость самому для себя ответить на вопрос: в чем же смысл жизни? Судьба Лени. «И к чему было все?.. К чему двадцать два года жизни, борьба и любовь, дядины планы, к чему? Так все непрочно, несложно в итоге... К чему, если вдруг пришлось лечь с бабкой, до сорока лет блазлившей молодцов купецких и до семидесяти лет возившейся с коровами?..» (I, 215-216).

Шмелев честен. Он не хочет давать «правильных ответов», «как надо», если они не стали его личным духовным опытом. Он чует эту тайну, которая связывает жизнь и смерть. Но она откроет то, что в ней присутствует, гораздо позже. В письме своему крестнику Иву Жантийому от 14 марта 1938 г. он скажет: «Помни: духовные связи с близкими не прерываются с уходом из жизни. Наша жизнь только бледная оболочка Вечной Жизни. Жизнь не умирает... И потому наша земная жизнь, полная случайностей, в сущности – не случайна, а лишь некая ступень, переход к непостижимому для нас теперь, но – **верному** (выделено Шмелевым – авт.). И конечно, не бессмыслица, как иногда кажется. Это дает нашему деланию на земле проч-

ность и смысл»<sup>7</sup>. Но тогда, в 1910 году, когда писалась эта повесть, в свои 37 лет, Шмелев еще этого лично, опытно не знает. «И к чему было все?.. И отвечаю себе: так надо. И только».

История семьи Хмуровых почти завершена. Дерево рода подрублено. Оставшиеся пойдут по-другому пути. Связи с прежним натянулись до предела и рвутся. Идет распад казавшегося незыблемым уклада жизни. Что придет на смену? Бояться этого или с радостью открыться навстречу? И вновь писатель говорит: не знаю.

«Да, во мне еще сильна необъяснимая страсть к старому дому, к нашему старому двору. Но она притаилась где-то далеко, в самом сокровенном уголке сердца. Она замрет, выветрится, испарится.

Уже новое сердце шепчет мне: пусть... пусть...

Все сметено, но я не волнуюсь и не печалюсь. Все это так надо. В громадной лаборатории жизни вечно творится, вечно кипит, распадается и создается; там совершается мировая реакция.

Я смотрю и не печалюсь: пусть... Работает лаборатория мира, уже сильнее клокочет в тигле, рвутся огненные языки» (I, 226).

### **«Человек из ресторана»**

Особое место среди ранних произведений Шмелева занимает повесть «Человек из ресторана», написанная в 1911 г. В ней впервые появляется герой жизненно правдивый, цельный, для которого вера не только была привычкой устоявшегося уклада жизни, но стала источником духовной силы и крепости, дала возможность перенести тяжелые испытания и остаться в согласии с Богом.

Яков Софроныч, лакей, всю жизнь прослуживший в одном из фешенебельных ресторанов Москвы, от первого лица ведет рассказ о своей жизни. Для всех посетителей он – только прислуга, никому не интересно, что он думает, как себя чувствует. Важно, чтобы он вовремя подносил, изящно обслуживал, догадывался о

---

<sup>7</sup> Жантйюм-Кутырин Ив. Мой дядя Ваня. М., 2001, с.102.

желаниях и прихотях гуляющих. Дома у него жена Луша, которую он очень любит, сын Колюшка, которого лакей из последних сил учит в гимназии, чтобы из него вышел настоящий человек, и дочка Наташа, растущая как бы на отшибе.

И вот однажды Коля тяжело оскорбил отца. В воскресенье после ранней литургии семья, как обычно сидела за столом. В гости пришел знакомый парикмахер Кирилл Саверьяныч. Он «был в очень веселом расположении: очень отчетливо прочитал Апостола за литургией». Кирилл Саверьяныч рассуждал о природе жизни и про политику. «И когда заговорил про религию и веру в высшего Творца, я, по своему необразованию, как повернул потом Кирилл Саверьяныч, возроптал на ученых людей, что они по своему уму уж слишком полагаются на науку и мозг, а Бога не желают признавать. И сказал это от горечи души, потому что Колюшка никогда не ходит в Церковь. И сказал, что очень горько давать образование детям, потому что можно их совсем загубить».

В ответ Коля бросил: «Вы, папаша, ничего не понимаете по науке и находитесь в заблуждении, - и даже перестал есть пирог. - Вы, - говорит, ни науки не знаете, ни даже веры и религии!..»

Яков Софроныч ответил: «Не имеешь права отцу так! Ты врешь! Я, конечно, твоих наук не проник и географии там не учился, но я тебя на ноги ставлю и хочу тебе участь предоставить благородных людей, чтобы ты был не хуже других, а не в холуи тебя, как ты про меня выражаешь... А если б я религии не признавал, я бы давно отчаялся в жизни и покончил бы, может быть, даже самоубийством! А вот учишься ты, а нет в тебе настоящего благородства... И горько мне, горько...».

Но Коля разошелся: «Оставьте ваши рацеи! Если бы, говорит, вам все открыть, так вы бы поняли, что такое благородство. А ваши моления Богу не нужны, если только Он есть!» (II, 66-67).

С образованными, но духовно пустыми людьми, Яков Софроныч встречается и в ресторане. Лакею могут сделать замечание, что у него пятно на фраке. А посетители? «Образованный человек - и учитель гимназии, и даже в газетах пишут - господин... такая тяжелая фамилия... так налимонился ввиду полученных отличий, что все вокруг в кабинете в пиру с товарищами задрыз-



гали... Противно смотреть на такое необразование! А как Татьяна день... уж тут-то пятен, пятен всяких и по всем местам... Нравственные пятна! Нравственные, а не материальные, как Колюшка говорил! Пятна высшего значения!» (II, 76-77).

Яков Софронич годами подкапливал денег, чтобы купить себе скромный собственный домик. Однажды пьяные посетители ресторана, приехавшие в столицу из Сибири сорить деньгами, обронили приличную пачку денег. Лакей нашел ее. Первая мысль: «Бог увидел мою нужду и послал помощь». Но потом совесть замучила его. «Не знаю, как быть. И слышу, как они у меня в боковом кармане хрустят, проклятые. Значит, краденые деньги в дом ташу... кормить-питать. Никогда я ничего подобного раньше... Не могу идти на квартиру. Страшно себя стало. Да что же это? Значит, всю жизнь насмарку? А она-то, моя жизнь-то каторжная, одна у меня была, без соринки была... Одно мое, эта жизнь без соринки... Сам Господь, думаю теперь на меня смотрит... И ждет Он, как я распоряжусь... Может, нарочно и послал бумажки, чтобы знать, как распоряжусь...» (II, 160-161). Бегом пустился лакей в ресторан и все вернул.

«И в глазах у меня жгет, чувствую я, что очень хорошее дело делаю. И еще себя хвалю: так, так. Вот Господь послал, а я не хочу, не хочу. Вот... И никому не скажу, что сделал. А сам про себя думаю, мне теперь Господь за это причтет, причтет. И бегу и думаю, как правильно поступаю. Кто так поступит? Все норовят, как бы заграбастать, а я вот по-своему! И боком думаю, с другой стороны, будто слева у меня в голове: дурак ты, дурак, они все равно их пропьют или в корсеты упихают. А я, с другой стороны, будто справа у меня, думаю: будет мне возмездие и причтется...

Может, и причлось... Так полагаю, по одному признаку, - причлось. В городе незнакомом старичок один на морозе теплым товаром торговал... Причлось, может быть... Может, и за это...» (II, 161).

Что за старичок, остается непонятным до конца повести.

Между тем, беды, одна за другой, входят в жизнь лакея. Колю выгоняют из гимназии. Через некоторое время он знакомится с революционерами, включается в их дела и попадает в тюрьму.

Наташа, дочка, совсем перестала слушаться родителей, загуляла, в сожительстве родила ребенка. От горя умерла жена Луша. Якова Софроныча выгнали из ресторана. Отвернулись все друзья. Лишился он всех своих накоплений, оставил квартиру, перебрался в нищенскую комнатку. «Полная остановка всей жизни» (II, 221).

И вот пришло еще одно известие: близился суд над группой революционеров, среди которых был и Коля. Яков Софроныч просил, умолял о помиловании, но никто не хотел его слушать. И вдруг новость: бежали двенадцать человек, в том числе и Коля. Большинство их поймали, но Колю не нашли. «Потом узнал я все, почему не нашли... И вот тут-то открылось мне сияние из жизни». Коля побежал через базар. В тупике стояла лавочка, и он бросился туда. В лавочке сидел старик, торговавший теплым товаром. «Спасите меня или выдавайте!.. Некуда мне больше!..» Старик повел его в угол, где между валенок висела черная иконка, и сказал: «Не должен бы я тебя принять, по правилам, а не могу. Раз ты сам ко мне пришел, твое дело». И спрятал Колю в подвале. Через две недели отпустил: «Бог, - говорит, - тебе судья».

Обо всем этом Коля написал отцу в письме. Яков Софроныч потом ездил в этот город и нашел лавочку и старика. Он пробовал благодарить старичка за спасение сына. Но тот отказывался. Тогда Яков Софроныч спросил его имя. Старичка звали Николаем. Лакей увидел черный образок: «Вы это! Вот по образку признал!..

- Ну, и хорошо, - говорит. – Вы образок спросите – может, он скажет...

И все улыбается. А потом взял меня за руку, к локотку, и потряс.

- Не знаем мы, как и что... Пусть Господь знает... И больше ничего».

Старичок расспросил лакея о его жизни и заключил: «Без Бога не проживешь».

«А я ему и говорю:

- Да и без добрых людей трудно.

- Добрые-то люди имеют внутри себя силу от Господа!..» (II, 225-227).

Ощутил Яков Софронич в этом событии и слова старичка Николая «сияние правды» и окончательно примирился с Богом.

### **«Иван Кузьмич»**

И все-таки, таких людей, как Яков Софронич, в ранних произведениях Шмелева мало. Другие герои тоже осознают себя верующими людьми, но их вера какая-то внешняя, и в минуты испытаний она не приносит душевного мира и не дает силы перенести страдание. Таков Иван Кузьмич Громов из рассказа «Иван Кузьмич». Это богатый московский торговец, ведущий дело по старинке, и в быту не признающий веяний времени. «Кряж, - говорили о нем в торговом мире, - по старинке живет» (II, 534). Он вел дело так, как это было установлено при его деде и отце, осуждал «новый ход коммерции, шикарные магазины». Новых коммерсантов, швыряющихся по заграницам, не считал за настоящих русских людей.

«Заграничное – это было безличное что-то и сумбурное, не имеющее ни прочных устоев, ни правды, ни благолепия. Другое дело «мы», Русь...» (II, 535).

Настало тревожное время: 1905 год, революция. На глазах стало рушиться все, что по привычке воспринималось основным и непоколебимым. Иван Кузьмич пытался понять, почему это происходит: «Испытание... Да за что же? Ведь по-божьи все, и церкви, благолепие...».

Вскоре революция коснулась и самого Ивана Кузьмича. Торговля прекратилась, работники стали строптивыми, открыто хамили. Одним утешением Ивана Кузьмича был его племянник – блаженненький Никитушка, Божий человек, который постоянно ходил по монастырям, а на зиму возвращался к дяде. Никитушка напоминал своим появлением о том, что есть живая вера. На сей раз он рассказал, как во время странствия был жестоко избит и ограблен. Он не питал к этим людям злобы: «Бог с ними, дяденька, а?» «Черт с ними, а не Бог» - не соглашается смириться Иван Кузьмич.

Он искренне пытается обрести в себе внутреннюю опору встает

на молитву, но «тяжелые образа, в кованных ризах, покрытые жирной черной копотью, глядели суровыми ликами через стекла». Молился, а сам осуждал нечестивцев, и снова просил: «Господи! Не вмени мне греха сего! Владыко милостивый! Избави душу мою от злобы и гордыни!..»

Страх и тревога овладевала Иваном Кузьмичом. Он решил попоститься, сходить в храм на исповедь и причастие. Возникло даже желание оставить все и вместе с Никитушкой уйти на Афон. Но и храм не принес желанного успокоения. Описание храма, службы, церковного причта вновь не располагают к приятию. Всё там внешнее, неискреннее. Все привычно делают свое дело.

«Началась исповедь. Долго шептал Иван Кузьмич, упорно смотря на крест, говорил о душевном смятении, просил пояснить ему, что же будет теперь, как повести себя. События жизни перепутались со всем обиходом, и он уже не мог выделить их от своей частной жизни.

О.Сергий вздыхал.

- Людское безумие, - шептал он. – Всем не легко, всем... Испытание Господне... Его воля...

- Тоска меня взяла, батюшка... страх. Хоть бросить все, уйти на покой...

Отец Сергей вздыхал:

- Доброе дело, доброе... Могий вместити... «и аз, недостойный иерей, властью мне данной, прощаю и разрешаю. Аминь!»

Вышел Иван Кузьмич из алтаря, подошел к Распятию, в углу храма, и стоял, не в силах молиться. Нет, не то... нет на душе легкости и мира, как прежде. Еще поговорить с о.Сергием?.. А может быть, и он растревожился и оттого так мало сказал?

Вечерня кончилась. Подошел о.Сергий и заговорил о ремонте: надо бы посеребрить паникадила и поставить за клиросами иконостасики.

- Д-да... надо...

- Уж вы не откажите, Иван Кузьмич...

- Д-да... хорошо...

- А нацот чего думаете... хорошее дело, конечно... великое дело...

И о.Сергий стал говорить о скудости церковных капиталов и об оскудении жертв...

Иван Кузьмич подходил к дому расстроженный: исповедь не облегчила его» (II, 555-556).

После причастия, как будто, на душе стало мирно. Иван Кузьмич слушал рассказы Никитушки о старцах, молчальниках. Он решает: «Вот что... Весна придет – съездим туда. Обсмотрю все, как там»

Но они такие разные – Никитушка и Иван Кузьмич. Торговец интересуется о жизни в монастыре: «А нащот пици как?»

- Пици... пици... А это что же, дяденька, пицца, а?

- Ну, нашло, брат. Ну, харчи там...

- А-а... Трапеза, дяденька? Святая трапеза. И с благословения все... И похлебки разные, и рыбы морские, и все, дяденька!..» (II, 557-558).

Развязка наступила быстро. Полиция потребовала дать взятку, Иван Кузьмич отказался. На него наложили штраф по пожарной части. Всколыхнулось самолюбие. «Ощущение душевного мира, после причастия, пропало». Он начинает вспоминать: «Двадцать лет ходил он старостой приходского храма, иконостас вызолотил; пять тысяч на колокол прп.Серафиму подписал; на голодающих генерал-губернатору десять тысяч в собственные руки передал и удостоился благодарности; да еще пять вагонов муки «от неизвестного» отправил... И такое отношение! Сам епископ чай у него в столовой пил и даже кулебяку кушал и благодарил... А война! Сколько по комитетам разным всякого добра отпущено! Хоть там, сказывают и порастаскали, а дар-то был. А барыни эти, благотворительные!.. «Уж не откажите, Иван Кузьмич!» И никогда отказу не было. Да что барыни! Самому Александру Александровичу депутатом от купечества представлялся и милостивого слова удостоился! И вдруг!» (II, 560).

Самое поразительное с ним произошло, когда однажды Иван Кузьмич на улице был подхвачен толпой народа, которая шла на митинг. Он стал невольным участником революционного действия. На митинге ему пришлось слушать выступавшего. Сначала ощущал: «А ведь это он возмущает... возмущает». Но постепенно с

каждым новым словом ловил себя на мысли, что все слышимое – правда. «И когда он понял, что это – правда, стал успокаиваться и даже постарался придвинуться поближе».

Выступавший «овладел толпой. Он громил, требовал и проклинал. Он звал перевернуть всю жизнь...». Толпа гудела. «Ивана Кузьмича точно подхватил вихрь и закружил. Все дрожало в нем, билось, ходило, клокотало. Его захватила блеснувшая перед ним правда. Он искал ее, бессознательно, ощупью отыскивал ее... и сколько лет! Он никому не говорил, но он искал ее. В тоске, в одиночестве, в Четяхх-Минях, в Никитушке, в старых образах и кивотах, в благотворении и молитве, в колоколах и обителях, в преданиях громовского дома – везде и всегда он искал ее. И показалось ему, что она здесь, что в этой толпе, во вздохах и столах мелькнула она... Так близко!..»

Что это было? «Была ли это тоска по жизни, так тускло, бес-толково и скудно прожитой и теперь угасавшей?» (II, 567-568).

Митинг разогнали казаки. А вскоре жестоко столкнулись две эти разные правды, которые стали жить в Иване Кузьмиче. В уличных столкновениях был убит Никитушка.

Когда его принесли домой, Иван Кузьмич словно обезумел. Он плакал, метался: «Божьего человека... человека, божьего че...»

«Строгий лик Николы Угодника в епископской шапке, в углу, - то являлся грозным видением, вспыхивал гневно в метнувшемся языке пурпурового пламени лампы, молнией оглядывал все вокруг и точно грозил: «вижу!..» - то пропадал в полутьме, оставляя потухавшее сияние ризы... И опять грозил: «вижу!» - и опять пропадал...

И страшно было в этой столовой, вспыхивавшей и темневшей.

Иван Кузьмич поднял голову и вдруг уловил грозный лик Николы Угодника в пламени...

- Ты!!! Никола Угодник!.. Грозный!.. Ты видишь... ты... ви... дишь...

Он захлебнулся, впился в икону, вытянулся, просил...

Лампада гасла. Последний раз метнул молнией из угла грозный старец и пропал...» (II, 573-574).

Не стала правда, которая строилась на вере как привычке, благочестивой традиции, хорошей тогда, когда все спокойно и за каждое доброе дело благодарят – не стала она тем краеугольным камнем, на котором если строится дом, то не сомнут его никакие бури. Так как этим краеугольным камнем является Бог, живой, любящий, страдающий, умирающий и дарующий Царство тем, кто открыл Его для себя Такого, сроднился с Ним, отдал себя в Его волю. Не могла стать таким камнем и новая, едва блеснувшая в митингующей толпе правда, так как это была правда земного царства, а, значит, в конечном итоге, неправда.

«С Никитушкой Иван Кузьмич похоронил последнюю свою веру и правду. И ничего не осталось, и пропала жизнь...» (II, 574).

Трагедия Ивана Кузьмича в том, что его вера не помогла ему жить, нести жизнь как крест, принимаемый из рук Самого Бога. В этом трагедия целого поколения тех русских людей, которые жили традицией, но обратили ее в привычку. И в дни испытаний и потрясений не нашли в ней внутренней опоры. И отсюда делали вывод: на земле правды нет и не может быть. Она осталась только на небе. Оставалось небо, тот таинственный мир, к которому Иван Кузьмич «взывал в минуты душевного гнета, при мысли о котором весь исполнялся священного трепета. Окруженный страшной загадочностью, через которую переступили уже и Кузьма Иванович, и Пелагея Семеновна, и Никитушка, этот несказанный мир золотого света, ярких красок, ангельских звуков, шелеста крыльев херувимов и серафимов и тихих молитвенных гласов, - мир этот тянул его к себе, как неизбежное и должное... Вечность – одна открывалась ему. Она звала его к себе, эта вечность, с ее незыблемой, закрытой от всех правдой» (II, 575-576).

Богу оставалось небо. А кому доставалась земля? И можно ли найти Бога в небе, если не нашел его на земле? И можно ли назвать жизнью жизнь, в которой оставалось «ждать и бояться, забыть и забыться»?

## «Росстани» (1913)

Смерть неизбежна. Но отношение к ней у всех людей разное. Человеку не хочется умирать, ему хочется жить, даже если годы уже преклонны, и врачи ставят неутешительные диагнозы. Приближаясь к границе, отделяющей земное от вечности, человек начинает слышать, понимать и ценить многое из того, что раньше ускользало за заботами каждого дня.

Данила Степаныч Лаврухин, до недавнего времени преуспевающий купец и подрядчик, поставивший дело на широкую ногу и передавший его в надежные руки сына, стал остро ощущать возраст и болезни. Врачи советовали уехать за границу или, в худшем случае, на Кавказ. Но он решает вернуться в родовое село Ключевое, в котором не был очень давно.

Приехав сюда, Данила Степаныч словно погружается в ушедшие детские и молодые годы, встречается с теми, с кем рос, дружил, ссорился, переживал. Он неожиданно открывает в себе интерес к сельским занятиям, начинает видеть красоту природы, значительность простых людей. Не забывал ездить на службы, либо в ближайший монастырь, либо в скит, который был совсем недалеко от Ключевого.

Однажды Данила Степаныч с удивлением узнал от своего старого товарища, что их общий знакомый Серёга Калюгин уже тридцать лет как принял постриг, стал отцом Сысом. А сейчас принял схиму и возложил на себя подвиг молчания. «Не верилось: Серёга Калюгин – схимонах! Драчливей его не было во всей округе. Пробили ему голову «на стенке» с шаловскими, повредили ногу. А теперь схимонах! И не только схимонах, а принял великое послушание и теперь второй год молчит. А какой ругатель-то был отчаянный!» (III, 45).

Данила Степаныч поехал посмотреть на отца Сысою. Сидел у него в келейке и все спрашивал: «Как же это ты так... дошел?»

«Молчал отец Сысой, смотрел ласково и покойно из-под колпака с крестом и костями, жевал серыми губами... Только и говорил отец Сысой, кланяясь:

- Молчу, сынок... молчу...»



Но уходя, пораженный увиденным, Данила Степаныч все-таки услышал важное для себя: «Милостыньку твори». Обернулся, а отец Сысой уже стоит в уголке и молится.

О самом главном напомнил схимник человеку, который много земных трудов положил в своей жизни. О том, что говорил когда-то Христос своим ученикам: «Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы» (Мф.9,13). И в притче о Страшном Суде в ответ праведникам, которые недоумевают: «Когда мы накормили, напоили и одели Тебя, когда мы посетили Тебя в больнице или тюрьме?», Христос отвечает: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф.25,40).

Данила Степаныч еще размышлял над увиденным и услышанным, как по дороге увидел нищего старика, сидевшего на обочине. Он вынимает пятак, но не кидает его, как предлагает слуга Степан, а отдает в руки: «Не найдет... Прими, дедушка». Вспомнилось, что в городе просить не позволяют. А надо бы помогать таким, строить для них богадельни в каждой деревне. И вновь подумал об отце Сысое и подивился: сказал ему милостыню творить, и возможность представилась тут как тут. Как знамение указал.

Совсем другими глазами посмотрел Данила Степаныч на свою сестру Аришу, которая всю жизнь безвыездно прожила в Ключевом. Это была высокая костлявая, молчаливая старуха, которая в свои неполные восемьдесят лет «была пряма и строга взглядом... не трогало и не гнуло ее время». Ребята ее поддразнивали, местные бабы обсуждали, а чуть какая нужда – все спешили к ней. Она твердо держалась когда-то давно принятого ею раз и навсегда порядка жизни, в котором храм, молитва, посты и праздники занимали важное место. Ариша делала все «как надо», но делала от сердца, так это надо было прежде всего ей самой.

Потому и тянулись к ней самые разные люди. Со стороны это был порою странный народ. «Приходили старухи в выгоревших платочках на трясущихся головах, без лица – так. Коричневые, сморщенные пятна. Приходили старики такие, что ветром качало, приходили ребяташки. Пестрые лохмотья, рваные бурые кафтаны, заплаты, от которых пахло задохнувшейся беднотой. Шли

с округа, шли из далеких мест. Приходили погоревшие, совали в окошки потрепанные бумажки. Гуськом тянулись слепцы – Бог их знает, слепые ли, так ли, непристроившийся, загулявший народ. Стояли прямые, смотрели в пустоту деревянными лицами. Сколько всяких!»

«Всех приючала Арина, давала хлеба, протягивала из окошка ломоть и никогда не смотрела, кто там, слушая два голоса – тот, что шел с воли, и другой, что говорил в ней: дай, не смотри.

Приходили силачи парни в драных картузах, с буйными лицами, с налитыми глазами, пропойные, с пустыми корзинами и взглядами исподлобья, гудели:

- Бабушка Арина, подай хлебца проходящему!

И к ним протягивалась рука ее» (III, 49-50).

Данила Степаныч стал подражать сестре и открыл для себя радость милующего: блаженней отдавать, чем брать. А сестра радовалась за него, видя, как смягчается сердце брата.

Многими добрыми делами успел украсить свой путь Данила Степаныч, подойдя к порогу, ведущему в жизнь вечную.

Образами Ариши, схимника Сыся Шмелев продолжает выстраивать ряд праведников из простецов, которые найдут потом свою законченность в Горкине из «Лета Господня». И на этом фоне по-прежнему неприглядно выступают у него священники.

В описании празднования дня Ангела Данилы Степаныча среди гостей, собравшихся к столу, находим и местного батюшку, приехавшего с сыном-семинаристом. Батюшка быстро напился. «Хоть и не молодой уже был батюшка, а совсем разошелся, говорил барышням любезные слова и пел тенорком хорошую песню, которую теперь забыли: «Пче-олка золотая, что-о ты жужжишь?» Сын останавливал, шептал на ухо, а батюшка ругал его лошадиной головой и кричал, что вышел из орбит». Уже под утро гости стали разъезжаться. «Батюшку чуть не силой увез семинарист, на руках поднял на тарантас, а все смотрели, как батюшка упирался ногами и наступал на рясу» (III, 56).

**«По приходу»** Рассказ написан в том же 1913 году. Первые священно- и церковнослужители стали главными героями произведения И.С.Шмелева.

Примерно в это же время свмч.Иларион (Троицкий) пишет статью «Грех против Церкви. Думы о русской интеллигенции». Владыка отмечает, что времена великих потрясений, к которым относится и начало XX века, заставляют каждого неравнодушно относиться к судьбе своего Отечества человека размышлять над причинами происходящего. И нельзя не заметить болезненной раздвоенности русской души. По точному наблюдению святителя: «Русская болезнь имеет в основе грех против Церкви. Отношение к Церкви — вот пробный камень для русского человека». Еще со времен Петра I и его преемников Церковь была унижена в своем положении и в отношении к ней со стороны высшего общества. В XIX – начале XX века в грехе против Церкви особенно преуспела интеллигенция.

На первый взгляд, Шмелева никак нельзя отнести к тем, о ком писал свмч.Иларион. Однако следует признать, что в ранний период творчества он внес свою долю в создание неприглядного, и, самое главное, несоответствующего своей обобщенностью образа русского духовенства, которое в абсолютном большинстве совершало самое настоящее подвижническое служение в городах и селах, в монастырях и в армии, в школах и больницах, в тюрьмах и далеких миссионерских станах. Недостатков было не мало. И о них с болью говорила сама Церковь, но именно с болью, а не с иронией и не с осуждением. И все же подлинного и крепкого в среде духовенства было гораздо больше.

Всё не так в произведениях раннего Шмелева. Всматриваясь в шмелевские образы тех, кому доверены алтари Господни, невольно вспоминаешь полемику, разгоревшуюся между Белинским и Гоголем по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями». Образы эти, будь они истинным лицом русского духовенства, более подтверждали правоту Белинского, нежели Гоголя. Белинский искренне недоумевал: «Неужели вы, автор «Ревизора» и «Мертвых душ», неужели вы искренно, от души, пропели гимн гнусному русскому духовенству?.. Неужели же вы и в самом деле

не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа?»

Рассказ «По приходу» выхватывает картинку из жизни церковного причта. Праздник Рождества Христова. Отошла праздничная служба. Надо ехать поздравлять прихожан. Конечно, не всех, но по особому списку. Трогаются в путь о.Василий, дьякон, берегущий побаливающее горло и боящийся: не чахотка ли; псаломщик и просвирня, вдовая попадья.

Первый по списку – фабрикант Аносов. Проходят в залу. Здесь хозяева и гости. Батюшка, дьякон и псаломщик стараются. «Батюшкин голос не хочет тонуть и все прорывается разбитым скрипом. Голос дьякона окреп, перекачивается с гулом. Псаломщик старается, нажимает на нижние, откидывается и давит подбородком на галстук, выворачивает глаза, видит седеющие височки выступившего вперед Аносова, край елки в огромном зеркале, отражающем подрагивающее сверканье, золотой образ всех праздников с пунцовый на золоченых цепях лампадой.

- «Волсви же со звездой путеше-ествуют...» - выкидывает он, накрывая рокочущую октаву дьякона, и думает: «Как живут!»

Потом стол.

«- Благодарствую, благодарствую... - говорит батюшка, подхватывая лиловый рукав и лоя рюмку мадеры...

- Не премину-с, не премину-с... - кланяется враскачку дьякон, закидывая к спине серые вялые волосы и закатывая глаза.

Аносов показывает кивком дьякону на бутылки:

- Все равно-с, померанцевой-с...

Псаломщик тоже за померанцевую...

Батюшка говорит, медленно пережевывая, о многолюдии за обедней.

- Портвенцу-то, отец дьякон... Многолетие, можно сказать, внушил!»

Перебрали какие-то сплетни. Пора. «На улице дьякон смотрит на батюшку, сжимая воротник под носом, батюшка понимает и говорит:

- У них всегда аккуратно... четвертная» (III,487-488).

Начало положено. Следующие – Мухотаевы, владельцы ма-

нуфактуры. В доме горе: хозяина разбил паралич, хозяйка плачет. «Поют вполголоса – в забытии хозяин, как бы не испугать». При этом о.Василий думает о том, привезут ли показать ему правнучку, а дьякон размышляет, кому достанутся миллионы после смерти старика Мухотаева. Закончили и пошли, а денег не дали. Но потом догнала горничная и сунула бумажку. Успокоились.

Навстречу успенские монахи – «уже поспели». «Отец экононом красный, точно с полка, рычит в буйную черную бороду:

- Второй раз повстречались!

Батюшка кланяется и мигает дьякону – наславился о.Палладий».

Дом Кундукова. Дьякон настраивает голос, «здесь придется петь многолетие, как всегда: Василий Ильич любит и дает особую синенькую».

Так и идут дальше. Дом исправника. Заходят, потому что боятся этого сутяги. Всем говорит, что говеет, а сам не говеет. «Исправник молится горячо, даже падает на колени, истово целует крест в разных местах, и батюшка чувствует, что в нем нет уважения к святыне, - и терпит».

Ко кресту тянется дама в пудре.

«- Католичка, но верует! – трогательно говорит исправник. – Водки откушаете?.. Ну, как угодно-с... А это... моя супруга!

Батюшка хотел бы отдать ему рубль, только бы не брать греха на душу: не верит и издевается. В прошлом году была другая жена, а теперь...»

Но не отдает рубль, и берет грех на душу.

Так и идут они от дома к дому, «видя радушие, холодок, пустоту». К вечеру устали. Батюшка еле ноги волочит. На улице драка. Но увидев священника, дерущиеся останавливаются: «Пускай попы едут!»

«Отведя руку с шапкой, лезет вихрастая голова и нетвердо просит:

- Бла... благословите... батюшка...»

День кончен.

«- Завтра уж делить будем, о.дьякон. Конечно, завтра». Все расходятся по домам. Батюшку встречает внука с младенчиком.

Дьякон ругает как всегда своих домочадцев, что ему назло никто не приготовил чай. У псаломщика дома – вечер танцев. А про-свирня как всегда – одна с кошкой.

Так Шмелев выстраивает два ряда своих героев, которые имеют отношение к духовной жизни. Первый включает в себя простецов из народа, носителей живого духа и совести, из таких выходили русские святые. Второй – духовенство и его ближайшее окружение, где от духовной жизни осталось только *внешнее*, не служение, а работа, внутри же, в сердце, в лучшем случае – усталость, в худшем – что-то от лукавого.

В рассказе **«Правда дяди Семена» (1915)**, крестьянин Семен Орешкин, «бывший десятский, бывший лаковар, которого Закону Божию не учили» (IV, 194), напряженно размышляет о том, в чем смысл начавшейся войны, навалившейся скорби. Его сердце разрывается от боли за Отечество, за гибнущих на фронте солдат, за оставшихся в тылу их жен, детишек, многие из которых стали сиротами, за умирающих без ухода стариков. Семен симпатичен Шмелеву, он вместе с ним переживает его боль.

Однако есть и такие, о которых русская пословица говорит: «Кому война, а кому – мать родна». В рассказе таковым вновь представлен тот, кто «от алтаря». Автор слушает, как Семен перечисляет умерших в их деревне за последний год. «Пересчитывает, а в голубоватых глазах вопрос и тоска. И вспоминается мне попова вечеринка в уездном городке – сидит на диванчике молодой псаломщик с гитарой и быстро-быстро, словно часы читает, рассказывает о доходах, подыгрывая на одной струне:

- Свадьбы сократи-лись, крестин совсем ма-ло! (на мотив – «только он прие-хал – опять уезжает»).

И потом часто-часто скороговорочкой:

- Производство живого товару сокращается, выручает: первое – погребение, старухи шибко помирать принялись, в нашем посаде за один рождественский пост семерых старух похоронили... второе – панихиды, сорокоусты, молебны, до двух десятков молебнов каждый праздник, и о болящих, и о скорбящих, и благодарственные, и по обещанию... есть некоторые семейства – по три

разных молебнов служат, и просфор больше неизмеримо, на Рождество было тысяча триста сорок просфор! Батюшка подымался с трех часов утра раннюю обедню служить... иконы и крест несравнимо щедрее принимают, на помин души вклады... Канительщика нашего компаньон от холеры помер, в обозной канцелярии был, пороху и не нюхал – в честь его тыщу рублей вклад внесли. Печа-альная комниба-ция жи...и...зни... (на мотив – «вот мчится тройка почтов-а-я...»).

Тряхнул рыжим хохлом, ударил всей пятерней по струнам и ухнул, словно провалился куда:

Ух-ух... глаз распух,  
Рыло пере-крыло!» (IV, 195-196).

Вот и еще один батюшка из рассказа **«За семью печатями»**. В годы мировой войны в России был введен запрет на производство и продажу водки. Этот шаг, о необходимости которого так много говорила Церковь еще со второй половины XIX века, было встречено всеми с радостью и облегчением. Всеми, кроме тех, кто уже спился и страдал в своей болезни. Семью печатями опечатано питейное заведение в одном селе. Ходят по селу и мучаются те, чьими ногами были протоптаны плотные тропы к этому дому. По неволе трезвея, они ищут силы в себе подняться, начать жить по-человечески и не находят. Приехавший из Москвы мужичок Осип Клеенкин советует отслужить молебен по случаю избавления «от лютого врага». Батюшка похвалил за рвение, взял требник: на какой случай молебствовать? Ничего подходящего не попадалось.

«Диакон посоветовал:

- Есть страждущие... - молитву на всякую помощь?..

- Нет, - сказал батюшка, - надо торжественней. Вот разве молитву «о сквернородящих»?

- Подходит по предмету, да...

Батюшка перелистал весь требник почаевского издания.

- Ведь вот, есть же молитва «еже освятити какое-либо благовонное зелие», а о избавлении от этого зла... гм!..

Тогда псаломщик, который хорошо знал по философии, предложил:

- А вот, батюшка, если... «над сосудом осквернившимся», ежели принять, что человек, как, вообще... сосуд души, и, конечно, все употреблявшие напитки осквернились?

- Нет, - сказал батюшка, - не совсем подходит. Разве молитва – «о еже...»

И не найдя подходящего, служил благодарственное молебствие об избавлении от недугов, соединив с молитвою «на основание нового дому» (V, 172-173).

Рассказ заканчивается описанием беседы автора с этим батюшкой.

«Батюшка угощает заливным судаком и, подвигая рюмку черносмородиновой, вздыхает.

- Уж на что мы люди интеллигентные, а и то доводим до гиперболы времяпровождение, - постукивает он вилочкой по рюмочке. – А что говорить о нижних этажах! – опускает он вилку к полу, в нос собачонке. – И что же там усматриваете? Самоотравление к сану и положению и всевозможные болезни! Кануло в вечность – и что же? Рвение к церкви подымается, здоровье укрепляется, начальство удивляется!

Он разводит руками и очень доволен, что вышло складно...

- И хотя бы напряжением все силы и даже до копейки ребром, зато потом будем загребать сторицей во всех отношениях: культура развивается, умы проясняются, население ободряется и... опять начальство удивляется! Хе-хе-хе...

И опять наливает» (V, 181).

Еще одна картинка в изображении Шмелева из времен Первой мировой войны в рассказе «**Оборот жизни**». Столяр Митрий рассказывает писателю о том, как война задала всему новый оборот жизни, так что каждый человек открывает свое настоящее нутро. Показывая на поповский дом, Митрий говорит: «Вот гвоздь-то нам вколо-ти-ли! С веселым теперь попом живем. Музыка такая идет!.. Новый, как же. Тот-то, рыбак-то наш, помер на масле. То говорят – объелся, а то будто от расстройства. Три тыщи дал под хороший процент в городе, мушнику под дом. На войне мушник... Срок подошел, давай деньги! Нету, муж на войне. Продам с торгу! Не продашь, военная защита у нас! Отсрочку имеем!



Да еще за твои двадцать процентов засудим. Сразу его ударом... А этот новый, стрыженный, совсем мальчишка еще. Ему бы призываться скоро, ратник он... а он уюркнул – в попы. Только семинарию закончил, женился и – поп! Цельный день граммофон поет, а он все по террасе похаживает да Машу кличет. Маша да Маша! В саду целуются, друг за дружкой гоняются... Ма-ша! Тот-то, бывало, зачет в церкви разносить... ку-да! А этот – Куцый. Мальчишки дразнят. И никто его не слушает. Еще и не обега-лись в досталь, а службу правит. Теперь бы утешать, а ему веры нет, бабы и не глядят. Маша да Маша! Как поехала старая-то попадьа... все наливку распродавала, шесть четвертей! Хорошие деньги взяла» (V, 221-222).

Очевидно, что все эти священники в подаче Шмелева являли сложившееся у него негативное отношение к духовенству. Одно дело – когда вызывает неприятие тот или иной конкретный человек. Другое – неприятие священства как такового, потому что за этим обязательно следует искажение понимания Церкви.

Православная традиция в отличие от западного христианства никогда не сводила Церковь к клиру. Церковь есть весь народ Божий. Вся она в каждом своем члене – «род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел» (1 Петр.2;9). И царственное священство христианина заключается в особом даре, которым является способность приносить себя и через себя вбираемый нашей жизнью мир «в жертву живую, свя-тую, благоугодную Богу» (Рим.12:1).

Но наряду с этим есть особое место священников, которое они занимают в Церкви. Для того чтобы каждый мог открыться в даре царственного священства, сама Церковь должна быть тем, чем является по природе – Богочеловечеством. Христос живет и действует в Церкви также, как и во времена Евангелия, делая то, что и тогда совершал: благовествовал, был строителем Таинств, пас Своих овец. Свое личное присутствие и делание в Церкви Он преподал апостолом, а через них – их преемникам, священству, так что каждый из них мог бы повторить вслед за апостолом Павлом: «Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал.2:20).

Всякое недостойнство конкретного священника может быть

поставлено в вину лично ему, но не священству как таковому. Искажая понимание роли священства, создавая его отрицательный образ, мы через это лишаем Церковь возглавления, ибо Церковь есть тело Христово, а Христос – ее Глава (Ефес.5:23). Вслед за тем неизбежно возникает искаженное представление о вере и всем том, что составляет истинную природу церковной жизни.

Что можно искать и найти в так понимаемой и воспринимаемой Церкви? Многие представители русской интеллигенции начала XX века, не равнодушные к духовной жизни, были искренне убеждены, что она выражается в уважении к исторической и культурной традиции своего народа. Прекрасны храмы и монастыри, иконы и песнопения, древние образы святых и простые души тех, кто из народа. Где-то сбоку есть Церковь (в сознании интеллигенции, сводимая к духовенству, монашеству), которая имела отношение ко всему этому богатству когда-то давно. А сейчас, она лишь пользуется ранее накопленным, а сама ничего не дает. Ее принимают по привычке, а если надо, то обратятся к Богу сами, посредники не нужны, они лишь мешают, лик Христов светит не через них.

Были разные позиции: от крайней – Льва Толстого, за хулу на Церковь отлученного от нее, до умеренной – например, в исканиях Бердяева, Мережковского и других сторонников идеи «третьего Завета». Делались попытки обвинить Церковь в искажении истинного образа Иисуса Христа и его учения. На сколько бы не отличались между собою «крайние» и «умеренные», было между ними и нечто общее: они не воспринимали Церковь как мать. И отвергали, а, может быть, и не знали святоотеческой истины: «Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец».

Их подход, по слову прот.Александра Шмемана, «сродни тому странному, почти всегда бессознательному, но и несомненному, презрению к Церкви, которое издавна присуще русской интеллигенции... и которое не исчезает даже и тогда, когда русский образованный человек возвращается к религиозному мировоззрению и даже к «церковности»». Писатель, стремящийся отразить правду жизни, должен для начала хорошо знать то, о чем он говорит. К сожалению, почему-то это правило не считается обязательным, когда

речь идет о Церкви. «К Церкви такой образованный человек подходит и ее воспринимает не знанием, а чувством, и это – никаким знанием не проверенное и не очищенное – чувство и есть для него единственное мерило всего в церковной жизни». И речь идет даже не о богословии в прямом смысле этого слова. Оно, не без вины, возможно, самих богословов, так и никогда не вошло в ткань русского «образования», осталось ему чуждым. «Но такое же удивительное невежество и тот же отказ невежество это считать изъяном и недостатком характеризует отношение нашего образованного класса и к богослужению, и к церковному устройству, ко всему, что включено в понятие церковной жизни. Это не мешает, однако, русскому интеллигенту с апломбом судить об этой жизни и о самой Церкви. Тут сказывается и вторая присущая русскому интеллигенту черта: отсутствие в нем смирения перед Церковью, нечувствие ее «иноприродности» по отношению ко всем другим областям жизни»<sup>8</sup>.

Ранние произведения Шмелева наполнены этим духом. В рассказе **«Лихорадка»** (1915) художник Качков пытается поделиться со студентом-скептиком своими духовными переживаниями:

«В последнее время о многом я думаю. И о Боге думаю. О том, детском, добреньком Боге... Вот мать моя... всю жизнь была ее нужда, так и умерла, никакой радости не видала. И все-таки сохранила детскую веру в какую-то великую правду. А спроси – и не объяснила бы. Что это? А миллионы простого народу... Сколько лишений, обид всяких, страданий!.. А живут и верят. И жизнь постепенно формируется и движется к какой-то великой цели. Через эти страдания выявляется светлый лик жизни, через века... покупается великое будущее» (IV, 7).

Разговор происходит в пасхальную ночь. Студент-скептик вдруг предлагает: «А теперь пойдем звоны слушать». Вот и все, что осталось от Пасхи, от победы Христа над смертью, от отверзающихся врат Царствия Божия – «звоны», которые недурно послушать.

---

<sup>8</sup> Шмеман Александр, прот. Собрание статей. 1947-1983. М., 2009, с.798-799.

Уже на улице Качков продолжает открывать студенту свое сердце. В его размышлениях все искренне, но оттого и жаль его, что он словно слепой, которому чуть-чуть брезжит свет, он тянется к нему, но судит о свете не по опыту зрячих, а по своему слепецкому опыту, *не признавая* себя слепцом. В результате пропадает духовная реальность того, что произошло на Голгофе и в пещере Гроба Господня. Христианство сводится к идее, смерть и воскресение Христово – к нравственному уроку:

«Две тысячи лет прошло, а идея не умирает... Искупление какой-то величайшей неправды величайшим самопожертвованием! Лучшее отдаст себя за все, во имя прекрасного! Я не говорю, что я слепо и буквально верю. Пусть это миф, я не знаю... но если миф, так и тогда, - и тем более, надо поклониться человечеству, которое это создало! Духу поклониться! Ведь это герои духа и мысли, если сумели такое выдумать. Величайшее отдает себя на позор, на смерть, чтобы убить смерть! Ведь такому человечеству, раз сумело оно подняться до этого и чтить это, - какие бы оно ошибки не совершило, - все можно простить, все! Верить в него можно!» (IV, 12).

«Верить в человечество, придумавшего столь высокую нравственную идею» - это гимн христианскому гуманизму, являющемуся непримиримым противником христианства Церкви. Христианский гуманизм готов принять и Церковь, но только как эстетическую ценность и нравственную идею:

«Ведь и тут искусство. И только к нему доступ... только его знает эта черная масса... Ей только церковь доступна! Только она еще не отказывает. Через церковь прошел, через жестяную купель, крикнул и придет сюда, всякий придет в конце. И церковь благословит его. А теперь она одна говорит о светлом. Ведь везде по билетам, а тут... Нищие вон толпятся на паперти, но и они могут войти, как равные, стать на колени и молиться в огнях и золоте! И никто не смеет прогнать!.. Церковь – это величайшая идея!» (IV, 16).

Воскресший Христос, являющий Себя открытому сердцу, соединяет в Свое Бессмертное Тело Своих участников, идущих крестным ходом в пасхальную ночь. Но ничего этого не понимает

Качков, не идущий крестным ходом, а наблюдающий за ним со стороны и с пафосом рассуждающий: «Вот взрослые люди, которые днем торговали, обманывали, устали от тяжелой работы, - теперь умылись, надели все чистое и идут и поют... радуются! Какова же должна быть сила, чтобы заставить! И ведь с радостью!.. Это идея! Идея освобождения, воскресения и подъема! Может и не понимают ее, но чувствуют и хотят, страстно хотят жить ею... Я тоже сейчас чувствую... Воскрес! В этом одном сколько – Воскрес! Я не про символ. Но надежда ведь тут, какая-то неясная, только чуемая будущая радость огромная. Воскреснет! Человечество воскреснет! И это создала церковь, вообще церковь... создала идею света и жизни! Ее петь надо! Это и святая сила, и величайшее искусство – вихри будить в душе, захватить так, до экстаза!» (IV, 17).

Столь же искренни, потому что основаны на страшном опыте войны, самого ее пекла, и столь же далеки от христианства рассуждения героя офицера-артиллериста Шеметова в рассказе **«Лик сокрытый»** (1916). В этой войне Шеметов потерял все: боевых друзей, родных и близких, здоровье, прежнее понимание смысла жизни. Мировая бойня либо делала думающего человека циником, либо заставляла попытаться понять тайну страдания огромного числа людей, лично ни в чем неповинных. В поезде он излагает другому офицеру Сушкину, едущему на побывку домой, свою теорию законов бытия этого мира. Он называет ее «психоматематикой», наукой «о жизни Мировой Души, о Мировом Чувстве, о законах направляющей Мировой Силы».

Все страдание человечества находит свое объяснение в Мировой Правде, которая выше всякого представления человека о справедливости. Мировая Правда – это закон Великих Весов. «На этих Весах учитывается... и писк умирающего какого-нибудь самоедского ребенка, и мертвая жалоба обиженного китайца, и слезы нищей старухи, которая... плетется сейчас где-нибудь в Калужской губернии... и подлое счастье проститутки-жены, которая обнимает любовника, когда ее муж в окопах. Громчайшие Весы, а точность необычайная. Закон тончайшего равновесия» (V, 106).

Сушкин пытается понять это через Евангелие: «Какой мерой меряете...», но Шеметов возражает:

«- Это не то. Там ответственность личная, а тут другое. Тут... ну, круговая порука, что ли... Тут не маленькая справедливость: ты – так тебе! А ты – так всем! Всем!! Действуй, но помни, что за твое – всем! Чтобы принять такую ответственность – как еще подрасти надо! А когда подрастут, тогда ходко пойдет дело этой, направляющей мир Правды... Тогда – Бог на земле!» (V, 107). Этим инструментом человек должен овладеть – «и оперируй!» Тот, кто овладел инструментом, имеет в себе громадное пламя. И «я этим пламенем могу человечество из канавы выдрать и заставить расти». Но «человечество сейчас и на задворках этого Царствия не пребывает..., еще должно завоевать право на Царствие... вымыть глаза и узреть. Должно пройти через Крест! Оно еще только сколачивает этот Крест, чтобы быть распятым для будущего Воскресения... И был символ – то, древнее Распятие. Звал, а не постигли! И напутывали узлы... А Весы взвесили и требуют умолимо: да будет Великое Равновесие! И будет распято! И уже давно вколачивает в себя гвозди».

«Две тысячи лет тому назад итог был подведен: показано было человечеству богатство, кровью нажитое... указана чудесная дорога по вехам, кровью и муками добытым! Я не поп, конечно, и осмысливаю опыт веков... Все человечество, искавшее своего смысла, чудесного своего цветка, ну... идеала, что ли... ну, счастья, что ли... сказало Одним Избранником: «За них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены Истиною! И напрасной оказалась Жертва... Не увидали Креста – да увидят Крест! И увидят. Да будет Великое Равновесие».

«Увидь, наконец, великий масштаб, а не свои сантиметры!.. Это «несправедливость» только для маленьких, а большой – примет. Один Большой уже принял и поставил Веху. Теперь принимают и маленькие...» (V, 109-114).

Что здесь от христианства? Ничего. Но зато всё – от псевдо-религии человекобожия, которую совместными усилиями дружно взращивали сначала гуманизм и либерализм, а потом и социализм. Человечество – это сам по себе организм, который развива-

ется и совершенствуется в ходе исторического развития. Время от времени в нем возвышаются избранники, которые опережают всех и далеко вперед выбрасывают веху-ориентир своим учением и своей жизнью. Христос – один из таких величайших избранников, Он так много пытался сделать, но Его Жертва оказалась напрасна. И сейчас *человечество* сколачивает новый Крест, *она* будет распята, чтобы открылся новый смысл, чтобы подросли новые избранники, чувствующие в себе пламень и вглядывающиеся в скрытый Лик мира. Они своим учением и своей жизнью и подвигами должны «выдрать человечество из канавы и заставить расти» и в перспективе будущего человечества будут покрыты и оправданы обиды каждого отдельного человека<sup>9</sup>.

Здесь нет ничего от христианства. И самое главное – здесь нет подлинного Христа, того, каким нам Его открывает Евангелие, каким Он является Себя в Церкви. Это хорошо уловила своим чутким верующим сердцем мать Сушкина, когда он пытался пере-сказать ей все, что услышал от Шеметова.

«- Нет, - сказала она, обиды будут покрыты... *там*.

- А если я не могу верить, как ты? И все же они должны быть покрыты! Не для тебя, а в мировом целом... Ты не можешь понять, ты мало знаешь...

- Надо верить... Я верю в Промысел» (V, 137-138).

В этом рассказе симпатии писателя на стороне Сушкина. Впоследствии Шмелеву придется пережить страшную трагедию – потерю единственного горячо любимого сына. Он сам будет пытаться найти ответ: за что, почему такое случилось, в чем смысл? Среди тех, кто попытается ответить ему, станет И.Ильин. В письме к Шмелеву Ильин словно продолжает мысль, начатую матерью Сушкина: «Не кончается наша жизнь здесь. Уходит туда. И “там” реальнее здешнего. Это “там” – земному глазу не видно. Есть

---

<sup>9</sup> Влияние на Шмелева человеколюбивых, таких, как А.М.Горький, в то время было очень велико. Еще в 1909 году Шмелев становится активным участником литературного кружка «Среда» и встречает дружескую поддержку В. Короленко и А.М. Горького. «Вы яркой чертой прошли в моей деятельности... – писал Шмелев Горькому 5 декабря 1911 г., – и если суждено мне оставить стоящее что-либо... то на этом пути многим обязан я Вам!»

особое внутреннее, нечувственное *видение* сердца; то самое, которым мы воспринимаем и постигаем все лучи Божии и все Его веяния. Нам не следует хотеть видеть эти лучи и веяния – земными чувствами; это неверно, это была бы галлюцинация. Но мы должны учиться видеть сердцем, – уже здесь, и Господа, и тех светлых, которых Он отозвал к себе».

В рассказе мать и сын говорят на разных языках и о разном Боге. Для Сушкина и Шеметова Бог, точнее – Божество – это Величайшая Правда, Великое Равновесие, Весы. Но Церковь знает Его не так, как мыслят о Боге философы. Он – любящий каждого человека, пострадавший, умерший и воскресший, открывший путь спасения, на который надо встать и идти причастностью Воскресшему Спасителю. И Жертва Его не напрасна, потому что никто не может отнять ее у человека. Она открыла навсегда путь в Царство Божия, Она и есть Царство Божие и до скончания веков будет преподаваться человеку в Церкви, которую врата ада одолеть не в силах. И не *«тогда будет Бог на земле»*, когда человечество вырастет в своем самосознании, как рассуждал Шеметов, а Бог уже на земле в Своем Богочеловечестве, которое и есть Церковь.

Приближалась революция. Многими она ожидалась как свежий ветер перемен, которые принесут небывалую свободу и счастье. Всего должен коснуться этот ветер, и Церкви тоже. Так ждал и радовался наступающему учитель Иван Степаныч из рассказа **«Два Ивана»**. Он возвращался с фронта вместе со своим земляком Иваном дрогалем. Вот показался невдалеке родной городок, оттуда донесся благовест. Звонили к воскресной службе.

«Иван Степаныч толкнул Ивана и крикнул, показывая в беловатые пятнышки:

- Слышишь... звон-то?! Вот она, революция-то, - Пасха наша!

- К обедням благовестят... - сказал Иван. – Сколько годов в церкви не был!..

- И церковь обновится... и там будет революция!» (VI, 246).

Налетевшая революция оказалась другой. Она разметала все: и строй, и уклад жизни, и связанные с ней мечты и надежды. Она переменяла людей. Те, кто носил в себе тлеющее неверие, разгорелись пожаром ниспровержения и с рвением занялись зачисткой



поля от ростков прежнего для семян новой жизни, в которой не было место ни Церкви, ни создаваемой веками под ее духовным окормлением Святой Руси. Другие стали прозревать. Личное страдание, умноженное страданием гибнущего Отечества, заставило взглянуть на привычное иными глазами. То, что уходило в небытие, вдруг стало открывать невидимую и неоцененную прежде глубину.

К последним относился и И.С.Шмелев. Как заметил А.И.Солженицын, «Шмелёву, прошедшему и заразительное поветрие “освобожденчества”, потом исстрадавшемуся в большевицком после-врангелевском Крыму, — дано было пройти оживление угнетённой, омертвелой души — катарсис. И дано было ему теперь, споздана, увидеть промытыми глазами ту невозвратимую Россию, которую сыны её столькие силились развалить, а косвенно приложился и сам он»<sup>10</sup>.

Еще Февральскую революцию писатель встретил с определенными надеждами. В качестве корреспондента газеты «Русские ведомости» он посещает Сибирь для встречи амнистированных политзаключенных. В письмах к сыну он радовался «обновлению жизни»: «Так много радостного, такого неожиданного в душе». В революции он увидел религиозное преображение народа — ведь «с такими лицами стоят в церкви», ведь именно такую Россию «чужали Достоевский и Толстой».

Однако масштаб и характер происходящих событий отрезвляют его. Октябрьский переворот Шмелев не принимает сразу. В 1918 году он уезжает в Крым. Там появляется повесть «Неупиваемая чаша», ставшая новой вехой в его творчестве.

### **«Неупиваемая чаша»**

Это рассказ-притча о деревенском иконописце Илье, сыне маляра Терешки и крестьянки Луши Тихой. Барин-тиран, прозванный за свои похождения Жеребцом, заставлял мальчишку быть при всех его непотребствах, от чего Илья страшно страдал. В 12

---

<sup>10</sup> Солженицын А. Иван Шмелёв и его “Солнце мёртвых”. Из “Литературной коллекции” // Новый мир, 1998, № 7.

лет он побежал в соседний с селом монастырь, прослышав, что люди там получают утешение. После службы он встал перед какой-то иконой и стал со слезами молиться. К нему подошла монахиня-старушка и ласково спросила о его горе. Он рассказал. Монахиня научила его, как просить: «Защитница, оборони, Пречистая!». И сама молилась вместе с ним. И легко стало у Ильи на сердце. Во всю свою недолгую жизнь он всякий раз, когда становилось тяжело, повторял слова старухиной молитвы. А Жеребец вскоре утонул. В деревню приехал молодой барин Сергей Дмитриевич.

К 16 годам у Ильи открылся талант художника. Он отпра-сился у барина на некоторое время поработать в монастыре, где артель иконописцев расписывала собор. Это были знатоки древнерусского уставного иконописания. Особенно прилепился Илья к старому Арефе, главному мастеру. С лету схватывал он все тонкости иконописного дела. И Арефа так полюбил Илью, что открыл ему все тайны, которые помогали писать святые лики, словно живые. Про Илью говорил: «Да это же другой Рублев будет». А Илья работал в радость, и так переполнялось его сердце, что он часто плакал. А однажды во время умиленной молитвы сподобился видения дивных глаз, которые заглянули ему в самую душу. С того дня Илья твердо решил служить Богу.

Вскоре барин, увидев талант Ильи, отправил его на обучение в Италию. Четыре года Илья постигал западно-европейское искусство и добился такого совершенства, что ему предлагали выгодные заказы и большие деньги, но он хотел вернуться в Россию, в родное село, чтобы всем приобретенным умением послужить Богу. Он действительно поражал всех своим талантом, но взятое им от Запада вошло в его творчество, и незаметно для себя Илья потерял что-то самое главное из того, чему научил его старый Арефа.

Не смотря на уговоры остаться, вернулся Илья в свое родное Ляпуново. Там уже построили новую церковь, которую он и взялся расписывать. В селе к тому времени появился новый человек – барин женился. Его супруга Настасья Павловна была тихой, кроткой и очень красивой.

Принялся Илья за работу. Барину его работа нравилась: «Важно! Самая итальянская работа». Зато местный дьякон Каплюга говорил: «По-новому, Илья, пишешь. Красиво, а строгости-то нету». Илья отвечал: «Старое было строгое. Радовать хочу вас, вот и пишу веселых».

Кончена работа. И стало Илье... грустно. Он осматривал свое творение: «В цветах и винограде глядели со стен кроткие: Алексей – человек Божий и убогий Лазарь. Строжили оружием – Михаил Архангел с мечом, Георгий с копьём и со щитом благоверный Александр Невский. Водружали Крест Веры и письма давали слепым Кирилл и Мефодий. Вдохновенно читали Писание Иван Златоуст, Григорий Богослов и Василий Великий. Глядели и звали лаской Сергей и Савва. А грозный Илья-мужицкий, на высоте, молниями гремел в тучах. Шли под широким куполом к лучезарному престолу Господа святые мученики, мужи и жены, - многое множество, - ступали по белым лилиям, под золотым виноградом».

Над входом Илья написал Страшный суд, так же, как видел в итальянской церкви у Тибра.

Смотрел он на выполненную работу, радовался, «и не было полной радости. Знал сокровенно он: нет живого огня, что сладостно опалает и возносит душу. Перебирал всю работу – и не мог вспомнить, чтобы полыхало сердце» (V, 45-48).

Начались его мучения: чувствовал, что не для того же он учился так долго и не для этого возвратился в родное село. И вновь после долгих молитв увидел он таинственные глаза в небе, «потерянную радость». Он почуял красоту Господню и таящуюся в себе силу. Знал, что придет то, что радостно отзовется в душе.

Но пришло совсем другое. Пришла страсть к госпоже, супруге барина. Она обожгла сердце Ильи, начала вбирать в себя все его жизненные токи. Илья стал медленно умирать в этой великой сердечной муке. Пошел, как бывало раньше, в монастырь, любовался на росписи, сделанные артелью старого Арефы. Не приходила прежняя радость.

А тут еще одно испытание: госпожа попросила Илью написать ее портрет. С того часа начались для Ильи сладостные муче-

ния. «День за днем потянулась эта радостно опаляющая душу пытка». Греховная страсть стала источником вдохновения, которое создавало удивительный по красоте портрет и опустошало сердце Ильи.

И как якорь спасения для него была работа по ночам над иконой, в которую он вложил всю свою исстрадавшуюся душу. «Защитой светлой явилась она ему, оплотом от покорявшей его плотской силы».

Закончена работа над портретом. «И ему стало больно». Жить больше было не для чего. Вскоре умерла Анастасия. Последней работой Ильи стал ангел смерти над изголовьем ее могилы.

Успел перед смертью Илья исповедоваться духовнику монастыря и отдал в дар ту икону, что писал по ночам. Открыли ее. Это был образ Божией Матери «Неупиваемая чаша». Лик Богородицы был дивно прекрасен, особенно глаза. Только одно удивляло. Илья, хорошо знавший уставное иконописание, не изобразил на иконе Богомладенца Христа.

Вскоре начали совершаться чудеса по молитвам перед этим образом. Архиерей разрешил выставить икону для всеобщего почитания, но благословил дописать Младенца в Чаше. И потянулись в монастырь к святыне люди.

В этой повести, несомненно, просматривается символический подтекст, раскрывающий судьбу русской культуры и ее носителей – русской интеллигенции, к которой принадлежал писатель. Работа в артели иконописцев, благодатная радость этого труда, которую испытывал Илья, свидетельствовали о близости русской культуры к Богу, ведении тайны присутствия света Царства Небесного в творчестве человека. Учеба в Италии стала отходом и забвением этой тайны. Творчество превратилось в подражание «правильной живописи», произошло пленение западной культурой, которая созидалась не на духовном, а на душевном. И душевное начало вытесняет духовное и судить его. Случилось то, о чем писал апостол Павел: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может» (1 Кор.2:14-15).

Не только в искусстве, но и во всем душевный человек начал судить о духовном, не понимая духовного и видя в нем безумие. Так и Шмелев когда-то смотрел на Церковь, монастыри, духовенство глазами душевного человека и видел безумие там, где жило дыхание Духа Божия, неотменяемого человеческими немощами и недостатками, потому что Церковь – не в грехах отдельных людей, а в том, что Бог живет в людях, тех, Которых Он любит, за кого Он взошел на Крест, кого Он усыновил и дал дар – быть причастниками Его жизни.

Должны были прийти предельные испытания, обнажившие слабость душевного человека, который в поиске опоры, утешения, надежды, смысла стремится вернуться к тому, что когда-то потерял, променяв Небесное на земное. И такое движение стало ощутимым в русской культуре в начале XX столетия. Но есть поразительно глубокий момент в повести. Илья, защищаясь от разрушающего и опустошающего его душевного искусства, идет назад – к иконе, пишет ее. Все в ней прекрасно. Но нет Христа! Оборачиваясь в прошлое, желая вернуться и найти опору в традиции, с которой когда-то соскользнули, многие нашли для себя славную русскую историю, замечательное искусство, светлые образы подвижников, высокую нравственность. Воспели все это. Но не дошли в этом возвращении до Христа. Все есть в этой восстанавливаемой и воспеваемой традиции, кроме Христа. Но Христос, живущий в Церкви, и есть ее тайна и слава, радость и высота, смысл и спасение. Без Него все превращается в благочестивую лубочную картинку, которая может чем-то утешить и восхитить, но не открывает путь Христов, который обязательно надо найти, когда наша жизнь ощущается как неимоверно тяжелый и невыносимый крест.

Пройдет немного времени и Шмелев почувствует жизненную необходимость возвращения к тому, что когда-то не было истинной верой для него, но являлось верой его народа и традицией его Отечества. Он будет писать об этой традиции, возвращаясь в памяти к прошлому, которое пережил и однажды уже описал, а сейчас на это же самое прошлое смотрит совершенно другими глазами, и пишет о том, как он должен был бы видеть то, что тогда ему

не открылось. Так появится новый очерк о Валааме, «Лето Господне» и другие повести и рассказы, которые как бы закрывали его раннее творчество, с его очерком о Валаамском монастыре, «Распадом» и другими произведениями, отразившими прежнее отношение писателя к Церкви и вере.

Но все это будет написано уже на другом берегу. А до него еще нужно было добраться. Между тем, что оставлено, и тем, к чему можно прийти, лежал страшный разлом – революция и ее ближайшие последствия. Шмелев имел тонкую и чувствительную душу, которая не просто болела от всего происшедшего вокруг. Она воспринимала наступившее сначала как всеобщее сумасшествие, а потом – как погружение в inferнальное<sup>11</sup>. Сами по себе трагические события: расстрел большевиками единственного сына, крушение уклада жизни, голод на грани смерти в Крыму в 1921-1922 годах – усиливались ощущением того, что революция вызывала из мистических глубин силу, сокрушавшую те пределы, за которыми человек перестает быть человеком как таковым. Шмелев реально пережил опыт ада.

### **«Нельзя так беззвучно уйти из ада»**

**«Солнце мертвых» (1923)** – это не художественное произведение и не воспоминания о событиях тех дней. И.И.Солженицын справедливо замечает: «Это такая правда, что и художеством не назовешь... Такое душевно трудное преодоление, прочтешь несколько страниц – и уже нельзя... Страшней этой книги – есть ли в русской литературе? Тут целый погибающий мир вобран, и вместе со страданием животных, птиц. В полноте ощущаешь масштабы Революции, как она отразилась и в делах, и в душах».

Почти умерла плоть, исстрадалась и лишилась прежних прочных связей с земным душа, но обострилось духовное восприятие всего происходящего, и человек почувствовал себя погруженным в ад. Ад может открыться и уже открылся Шмелеву здесь, в родных местах, в Крыму, с которым были связаны многие дорогие

---

<sup>11</sup> От латинского – явление ада.

сердцу страницы жизни. Именно здесь, а не за гранью смерти, ад показал свою реальность.

Оказалось, что главное в опыте ада – это даже не физические и моральные страдания, а жизнь, у которой полностью отнят всякий смысл. Это уже и не жизнь. Существование в аду жизнью называться не может. Это ощущение бесконечно приближающегося конца, здесь «день ото дня чернее». «Ни страха, ни жути нет, - каменное взирание. Устало сердце, страх со слезами вытек, а жуть – забита» (VI, 216). Человек здесь – узник, «каторжник-бессрочник». Он каждый день должен что-то делать: «зачем – не знаю. Чтобы убить время». Прежде труд имел смысл. Сейчас тоже нужно собирать сухие ветки для печки, бороться со всеми, кто покушается на остатки сада – единственного кормильца. Но этот труд не приносит радости и удовлетворения. Зато «убивает мысли».

Все что, попало в пространство ада из прошлого, становится ужасной карикатурой на человека. Вот соседка по даче, старая, милая барыня. Жила за границей, училась в Берлине и Париже. Сейчас «бродит в вязаном платочке, унылая и больная, щупает себя за голову, жует крупку... Бьется с чужими детьми, продает последние ложечки и юбки, выменивает на затхлый ячмень и соль! Боятся, что отнимут у ней какой-то коврик».

Вот профессор Иван Михайлович, бывший член Академии наук, имел медаль за исследования по Ломоносову. Сейчас в поисках пищи ходит «рванный, грязный, на ногах тряпки наверхены». А медаль у него купил грек или татарин за пуд муки.

Вот Михаил Васильевич, старик доктор, прославившийся тем, что сумел вывести на каменистом пустыре дивные миндальные сады. Занимался химией, вегетарианством, делал опыты. Сейчас потерял всё и всех. Недавно похоронил жену. Вместо гроба пришлось использовать маленький буфет, в котором прежде хранили абрикосовое варенье. Остался нищим. Штаны на нем из нянинных фартуков и дерюжины, об которую обтирали кисти маляры. Зато пиджак когда-то был куплен в Лондоне. От голода теряет память. Три часа пытался вспомнить «Отче наш» - безрезультатно. Сейчас постоянно думает, полагает, что «должен сделать инте-

ресное обобщение» и даже желает нечто опубликовать «в предупреждение человечеству». Все они уходят один за другим в царство мертвых.

Рядом те, кто сам был из простого народа, хлебнул свободы, кто-то из них вознамерился разбогатеть на награбленном, но все пострадали: дядя Андрей, воровавший у соседей, а потом убитый своими за воровство; Федор Лягун («Кого хочу, подведу под мушку»); старый казак, расстрелянный за то, что донашивал свою шинель; жестянщик Кулеш, искренне веривший обещаниям о сытом будущем, потом умерший от голода; Пашка-рыбак, ругающий новую власть за то, что обирает так, как не было при царе. Сначала били они. Сейчас бьют их. И из них вытрясают последнее. А если сопротивляются, то воспитывают шомполами. Или делают «ванну»: отбивают внутренности мешком с песком, а потом отливают водой. Не помогает – тогда в подвал, откуда живыми не выходят.

Вместе с людьми в этом аде страдает всякая тварь живая: павлин, корова Тамарка и ее «немые коровьи слезы», козел Бубик, индюшка с цыплятками. Они словно тоже понимают – всё не по-человечески. Все умирают.

Иногда слышится леденящий «поземный стон»: «Недобитые стонут, могилки просят».

И над всем – солнце мертвых.

Здесь же и господа нового порядка. То, что написано о них Шмелевым, напоминает о допотопном человечестве, потомках Каина, этих исполинах, упражнявшихся в изобретении злобностей. О них Господь сказал: «Они суть плоть» (Быт. 6:3). Они – плоть не потому, что много внимания уделяют плотскому. Человек – дух, душа и тело. Высота человека – в его духе, которому должны быть подчинены душа и тело. «Они суть плоть», так как произошел переворот: плоть оказалась наверху, а дух направлен вниз.

Все они, хозяева нового порядка, словно на одно лицо, и напоминают описание Бехемота из книги Иова, Денницы, восставшего на Бога, низвергнутого до скотов («Бехемот» - евр. «скотьё»), и лепящего из «плотей» новый союз, перевертыш Церкви, в котором Дух Божий не дышит (Иов. 41:8). Бехемот описан как несокру-



шимая ничем земным сила: «Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собою твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе, совсем теряются от ужаса... Нет на земле подобного ему; он сотворен бесстрашным; на все высокое смотрит смело; он царь над всеми сынами гордости» (Иов. 41:13-17; 25-26).

И *эти* такие же: «Спины у них широкие, как плита, шеи – бычачьей толщи; глаза тяжелые, как свинец, в кровяно-масляной пленке, сытые; руки-ласты, могут плашмя убить. Но бывают и другие стати: спины у них – узкие, рыбы спины, шеи – хрящевый жгут. Глазки востренькие, с буравчиком, руки – цапкие, хлесткой жилки, клещами давят».

Это люди, которые пришли убивать.

«- Подать... кро-ви!

Подали и крови. Сколько угодно крови!..

И вот убивали, ночью. Днем... спали. Они спали, а другие, в подвалах ждали... Целые армии в подвалах ждали. Юных, зрелых и старых, - с горячей кровью. Недавно бились они открыто. Родину защищали. Родину и Европу защищали на полях прусских и австрийских, в степях российских. Теперь, замученные, попали они в подвалы. Их засадили крепко, морили, чтобы отнять силы. Из подвалов их брали и убивали.

Ну, вот. В зимнее дождливое утро, когда солнце завалили тучи, в подвалах Крыма свалены были десятки тысяч человеческих жизней и дожидались своего убийства. А над ними пили и спали те, что убивать ходят. А на столах пачки листов лежали, на которых к ночи ставили красную букву... одну роковую букву. С этой буквы пишутся два дорогих слова: Родина и Россия. «Расход» и «Расстрел» - тоже начинаются с этой буквы. Ни Родины, ни России не знали те, что убивать ходят» (VI, 35-37).

Среди убитых – сын Ивана Сергеевича Шмелева. Сергей, совсем юный мальчик, вернувшийся с фронтов мировой войны, практически не участвовавший в белом движении, поверил обещаниям большевиков сохранить жизнь тем, кто добровольно придет на

регистрацию, и был арестован чекистами Бела Куна. И таких как он – десятки тысяч. Как это вместить? Всё выжгло внутри. «У меня нет теперь храма. Бога у меня нет» (VI, 22).

А ведь когда-то приближение этой бури воспринималось как свежее дыхание грядущих перемен, которые обязательно будут к лучшему. Тогда, в далеком 1910 году, после первой революции в России, Шмелев, уже чужавший приближение новой эпохи, писал: «Все сметено, но я не волнуюсь и не печалюсь. Все это так надо. В громадной лаборатории жизни вечно творится, вечно кипит, распадается и созидается; там совершается мировая реакция. Я смотрю и не печалюсь: пусть... Работает лаборатория мира, уже сильнее клокочет в тигле, рвутся огненные языки» (I, 226).

Сейчас, из начала двадцатых, он обращается... К кому? По тексту – к сытому и самодовольному Западу, спокойно взирающему издалека на все, что происходило в России. Но кажется, что – и к себе прошлому. Спрашивает беспощадно и не ждет ответа.

К Шмелеву приходит из соседней дачи девочка Анюта. Он хорошо знает ее. Она, сама умирая от голода, все время пыталась что-нибудь добыть для маленького брата.

«Она неслышно, тенью, идет по саду, закрывает лицо ладошками. От горя, которое она так познала?

- Папашу... взя... ли... Гришуня наш помер сегодня... и все наше сальце взяли... и требушку взяли... на зиму припасали...

Она трясется и плачет в руки, маленькая. А что я могу?! Я только могу сжать руки, сдавить сердце, чтобы не закричать.

Не знаете, не видали вы этого, смакующие – человеческие «порывы», восторженные ценители «дерзаний»! Все это «смазка» чудесной машины Будущего, отброс и шлак величественной плавильни, где отливается это Будущее! Уже видны его глаза...» (VI, 217).

Это дно. Оно зовет лечь на него и замереть. Смерть раньше смерти. И вдруг дух находит в себе силы оттолкнуться от дна. Господь врывается во ад. Рождается молитва о спасении. Так же, как когда-то родилась в сердце святого Давида: «Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в преисподнюю - и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, - и там рука Твоя поведет

меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли: «может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью»; но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет» (Пс.138,8-12).

«Сидишь у огня и слушаешь: все одно – пустота, темнота... та... та...». Застучали в ворота. Ветер? Нет – люди. Уверенный стук. Это *они*. «Ну, что же! Не все ли равно теперь?... Пусть – они. Сразу если... готовы! Ворвутся, с матерной руганью... будут тыкать в лицо железом... огня потребуют... а ни лампы, ни спичек нет... Стыдно, руки будут дрожать... Будут расшвыривать наши тряпки... А силы нет...».

Но это не *они*. Пришел старый татарин Абайдулин и принес от знакомого человека яблоки, сушеную грушу, табак. «Тебе прислал. Идти ночь.... Велела».

«Табак! В серой бумаге, золотистый табак, душистый, биюк-ламбатский!

Нет, не это. Не табак, ни мука, не грушки... - Небо! Небо пришло из тьмы! Небо, о Господи!»

Посланник, «с неба вестник», греется у огня. «Смотрит в огонь старый Абайдулин, и я смотрю. Смотрим, двое – одно, на солнце. И с нами Бог».

Уходит. «Теперь ничего не страшно. Теперь *их* нет. Знаю я: с нами Бог! Хоть на один миг с нами. Из темного угла смотрит, из маленьких глаз татарина. Татарин привел Его! Это Он велит дождю сеять, огню гореть. Вниди и в меня, Господи! Вниди в нас, Господи, в великое горе наше, и освети! Ты солнце вложил в сучок и его отдаешь солнцу... Ты все можешь! Не уходи от нас, Господи, останься. В дожде и в ночи пришел Ты с татаринном, по грязи... Пребудь с нами до солнца!..

Я никак не могу уснуть. Коснулся души Господь – и убогие стены тесны. Я хочу быть под небом – пусть не видно его за тучами. Ближе к Нему хочу... чуют в ветре Его дыхание, во тьме – Его свет увидеть»(VI, 203-205).

Как сохранить опыт Божьего посещения? Как научиться им жить дальше, пройти до конца над тем адским разломом и не утонуть? Как не потерять надежды там, где нет никаких видимых

оснований для надежды, когда со всех сторон наваливается тоска и отчаяние? Только верой!

«Я сидел на бугре и смотрел через городок на кладбище. Всмотривался в жизнь Мертвых. Когда солнце идет к закату, кладбищенская часовня пышно пылает золотом. Солнце смеется Мертвым. Смотрел и решал загадку о жизни-смерти. Может случиться чудо? Небо – откроется? И есть ли где это Небо? И другое решал – свое. У меня еще крест на шее, а на руке кольцо. Отнесу греку, татарину, кому нужно ходячее золото, – бери и кольцо, и крест! Я останусь свидетелем жизни Мертвых. Полную чашу выпью. Или бросить тебя, причал последний, наш кроткий домик – с последнею лаской взгляда?.. весны добиться и... начать великое Восхождение – на Горы? Муку в себя принять и разделить ее с миром? А миру нужна ли мука?! У мира свои забавы... Весна... Золотыми ключами, дождями теплыми, в грозах, не отомкнет ли она земные недра, не воскресит ли Мертвых? Чаю Воскресения Мертвых! Я верю в чудо! Великое Воскресение – да будет» (VI, 231).

Шмелев остался жив, пройдя через этот ад. Жив не только телом, но душою, с ее чуткостью, способностью к творчеству и просто желанием говорить. Вышел он во многом другим человеком. Его вера приобрела зрелость, присущую только прикоснувшимся к Самому Кресту Господню, испытавшим искушение отойти, преодолевшим и это искушение, и отчаяние от потери самого дорогого в этой жизни, и страх за саму жизнь; познавшим, что значит – «весь мир лежит во зле» (1 Ин.5,19), но мир не есть зло, он – Божие творение, вечное «се добро зело» (Быт.1,31), которое никто не в силах отменить или украсть. Такая вера дает человеку видеть мир, как видит его Господь в вечности, а здесь, на земле – святые и дети.

В 1922 году Шмелев с женой возвращается в Москву, а затем им удастся уехать за границу. Начинается новый период жизни и творчества писателя. Начинается с мучительной попытки понять, кому рассказать о пережитом, что осталось из непреходящих ценностей, что значит сейчас быть русским по отношению к Советской России и по отношению к Западу. Но сначала надо было

разобраться в себе, с чем Шмелев вышел из пережитого, найти голос нового человека, каким он ныне стал.

### **«На пеньках» (1924)**

Повествование ведется от лица человека, занимавшегося изучением философии и истории античного искусства. Попав в переделку революционных событий, он смотрит на свое прошлое. Все прежнее потеряло смысл. Но одно воспоминание воспринимается как пророческое.

Это произошло в Турции, где ученый отдыхал вместе со своей женой. Однажды во время прогулки к морю к нему подошел старый грек, предложивший за четыре литра вина древнюю святыню: византийский складень из кости XI-XII веков. Неизвестный мастер, имевший святое, чистое сердце, сумел передать свои надежды, сомнения, муки и веру-радость.

«На левом створе... Идут волхвы-мудрецы, с жезлами магов, в высоких восточных шапках. Лица пытливы, строги. Фигуры – в порыве: найти, увидеть. Звезда над ними стремится лучи. Вдали видны – пещера, Ясли. Бог в небесах держит Звезду в Деснице.

На главном створе... - «Снятие со Креста». Темная скорбь на лицах. В небе клубятся тучи. Св.Тело обвисло, плоско, - земное, «персть». Из туч, острый, как пика, луч падает между Телом и волхвами. Волхвы уронили жезлы свои, сложили руки ладошками, на лицах их скорбь и ужас. В небе не видно Бога. Муки исканий – тщетны. Смерть, отчаяние – во всем.

На правом створе... - «Великое Воскресение». Встают из гробов, из земли, из вод. Волхвы, воскресшие, воздымают руки свои с жезлами, небо залито звездами. Три Ипостаси Божии, в великих лучах Звезды. Лица волхвов – обретенная радость вечной жизни – в Боге. Иные лица, уже не земные. Искания как бы оправдались, завершены...

Я з н а ю: великие пути человеческого духа явлены были в триптихе, мне явлены! И это меня поддерживало долго-долго. Теперь... я ищу волхвов. Где они?!» (VI, 314).

Вся жизнь писателя, все его искания – словно створы этого

складня. Два из них уже пройдены, познаны. Но есть и третий – «Великое Воскресение». Пережив предельную скорбь потери, он в муках рождения в нового человека: «Были во мне заряды – теперь разряжен! Но чем же мне зарядиться снова? И надо ли? Что-то я своего голоса не слышу, и говорю, и кричу, как в вату». «Не могу я больше. Найду в себе ч е л о в е к а... Нельзя так беззвучно уйти из ада» (VI, 328).

Европа не стала для Шмелева источником новой жизни, духовного воскресения. Таким источником для него могла остаться только Россия. Россия, которой уже больше не было на географической карте, не было в живых, но которая навсегда осталась в памяти. И вера в то, что возможно «Великое Воскресение».

Шмелев стал рассказывать Европе о России, и даже не Европе, а самому себе. Словами героя рассказа «На пеньках», он говорит: «Я себе самому рассказываю, как пропал человек во мне, к а к и м снова в меня вернулся. Я вытряхиваюсь; я бывший, ищу, ищу... Я видел очень и очень много! Перечувствовал еще больше... Что за ощущение прощаний – со всем, со в с е м!.. – от писем молодости, от исчерченного каракулями стола, от каждой пустой вещички, на которой остались отблески и изъянцы жизни, лепеты прошлого, печальные взгляды и улыбки и которая скорбно просит – возьми с собой! – до последнего взгляда на пороге, где нога не хочет переступить, до поворота, откуда уже не видно родного пепелища, деревьев сада, пустой скамейки на бугорке, под елью... - до проселка в пустых полях, помутневших к ночи; до неба, которого нигде не встретишь, и до звезды, светящей над головой: она одна всюду пойдет за тобою, будет тревожить тебя ночами, слезу вырывать сверканьем, тянуть за собой – домой» (VI, 329).

Новым человеком возвращался Шмелев в *ту* Россию. Новыми глазами он хотел посмотреть на то, что уже когда-то было увидено и описано, но *так ли* увидено, увидено ли в главном? Герой рассказа говорит о снах, в которых ему являлось то, что казалось известным, но сейчас ощущалось по-другому: «Было тут – и давно мне известное и невиданное еще... Песни неспетые, образы непокорные, неуловимые для резца, для глаза. Созданное

доселе, в сравнении с ними, - мрак! Живые были они, из тонкого камня-света, не рожденные никогда, - уже минувшее. И голос во мне шептал: «Святое!»... Сон мой этот... Тут где-то, во мне или вне меня, невидимое было Царство, было! Оно же явилось мне... Неявленные мои возможности... нерожденные мои сны? Плавают они всюду, живут туманно, мукой стучатся в души. Родятся ли? (VI, 331, 333).

### ***«Душа Родины»: историософия И.С.Шмелева***

Возвращение писателя к жизни было невозможно без веры. Сейчас, в свои 50 лет, он почувствовал необходимость заново осмыслить свою веру, рассказать о ней тем, кто точно также попал в водоворот страшных событий, оказался оторванным от родных корней, чтобы найти непоколебимые основания, смысл, ради которого стоит жить.

В 1924 году Шмелев пишет ряд статей («Убийство», «Крестный подвиг», «Русское дело», «Душа Родины»). В них он излагает свое понимание произошедшего в России, свою историософию, давшую духовное измерение самым известным художественным произведениям этого периода, благодаря которым Шмелев сегодня известен, прежде всего, как православный писатель.

Для писателя Россия – это не только страна и народ с длительной историей и богатой культурой. Она сама по себе – живая, наделенная душой реальность, которую нельзя просто так исследовать, изучить. Ее душу надо почувствовать. Душа России сформировалась, выросла под водительством Божиим, ее путь – исполнение Божией воли. Со времени Крещения Русь стала Домом Божиим, в котором Он всегда пребывает со Своим народом («Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя»).

Русский народ во все века жил ощущением близости Божией и стремился отыскать тот единственный правильный путь, который называется Правдой. Сам он не может открыть для себя эту Правду, народ имеет только чувство ее. Правду Божию народу открывали его Великие. Прежде всего, это сонм Святых, которых

народ ощущал как своих от духа и плоти: Сергей Радонежский, Тихон Задонский, Нил Сорский, Митрофаний Воронежский, Серафим Саровский, оптинские старцы. «Они, Святые, открывают тайник народного Идеала, русского Идеала, народной Правды».

Но уже «старцы» Шмелев пишет в кавычках. Время тех Великих прошло. Ныне их дело продолжают иные пророки – поэты и писатели, которые одни только и способны почуять душу России. «По ней томятся, за нее отдают себя».

Для них Россия – Жена, Невеста (VI, 560). Этот символ у Шмелева поднимается до образа, сопоставляемого с образами Священного Писания: «Она – В е н ч а н н а я Ж е н а. Она – Россия! Это не из т о г о Апокалипсиса. Это – из н а ш е г о» (VI, 551).

Страшно звучат эти слова для православного человека. Слышится в них противопоставление: «тот Апокалипсис» и «наш», «та Жена» и «наша». Ведь «та Жена» из «того Апокалипсиса» есть Церковь. В 12 главе Откровения Иоанна Богослова говорится о Ней: «И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения».

И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы железом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней... Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени. И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дра-



кон из пасти своей. И расвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откр.12: 1-6, 13-17).

Вот что пишется в толковании на эти стихи: «Под этою величественной женою, по мнению большей части благочестивых истолкователей Откровения, должно разуметь Церковь - общество верующих во Христа, Который есть Солнце Правды... Церковь христианская всем нам, христианам, как мать, и мы по отношению к ней - ее дети (см.: Гал.4:26). Мы ее дети «не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек» (1 Петр.1:23). Церковь Христова во все времена рождала и рождает своих детей не без страданий. Труды, лишения, гонения от язычников - вот те страдания, которые Церковь терпела и терпит при рождении своих духовных чад»<sup>12</sup>.

В историософии Шмелева совершается подмена: вместо «той Жены» (Церкви) – Россия, вместо «того Апокалипсиса» (Откровения Божия) – новое Откровение и новые пророки. Церкви же в истории России Шмелев выносит суровый приговор: «Дух Живой уходил из Церкви, она ослабела: правила оболочку, а не душу. Порабощенная властью Церковь не оплодотворяла душу» (VI, 563-564). Потому и отрывает Шмелев Христа от Его исторической Церкви и «венчает» с Россией.

В такой решительной оценке состояния Церкви, с одной стороны, ощущается дух старообрядчества, еще в XVII веке доказывавшего правоту своего ухода от Церкви тем, что благодать покинула ее престолы. С другой стороны, упоминание о порабощении Церкви государственной властью говорит о той слепоте, которая была присуща очень многим представителям русской интеллигенции, и которая не позволила им рассмотреть за действительно уродливыми явлениями синодального периода в истории Церкви подлинного духовного возрождения в конце XVIII – начале XX века. Преп.Паисий Величковский и традиция старчества, знаменитые пустыни (Оптинская, Глинская и другие), от которых ду-

---

<sup>12</sup> Апокалипсис, опыт подстрочного комментария. М., 2000, с.29-30.

ховно кормились лучшие из тех мыслителей и писателей, кто преодолевал в себе соблазн гуманизма и просвещения; отечественное богословие и церковно-историческая наука; открытие заново духовной глубины средневекового церковного искусства – лишь некоторые стороны этого духовного подъема. А самое главное – это появление того поколения, которое, несмотря на реальные недостатки будь то представителей епископата, духовенства или мирян, стало в скором времени поколением новомучеников и исповедников российских. Ни представители творческой интеллигенции, возвысившие свой голос против новой власти, пленившей Россию, ни подвиги и жертвы Белого движения, о которых так много пишет Шмелев, не являлись тем камнем, о который споткнулась богоборческая власть<sup>13</sup>. По слову прот.Александра Шмемана, «Церковь и только Церковь оказалась силой, способной противостоять разгулу и торжеству сатанинской идеологии. Она одна не рухнула в страшном, по своей быстроте, крушении Империи. Гонимая, загнанная, разлагаемая и отравляемая беспрестанным давлением, контролем, предательством, ложью, она одна оказалась не *падшей* в страшном падении России»<sup>14</sup>.

Ничего этого не увидел Шмелев. Поэтому не Церковь, а история, по его мнению, есть место явления полноты Божественного присутствия. Бог, открывающийся в истории, а не в Церкви – вот краеугольный камень историософии Шмелева. Поразительно, что эти мысли Шмелев в одном из неоконченных произведений – романе «Солдаты» - вложил в уста священника: «По-Божьи! – вот что. Вот она, цель России, вещь... И она – в народе. Божье зернышко упало на Россию с неба!.. Надо жить по-Божьи! Вот «основа». Положите во главу угла. Устроить нашу жизнь по-Божьи – раз, и прочие народы научить сему – два... Правда. Когда еще сказал Шеллинг, что христианство есть откровение Божества в истории! Божество-то открывается, и не раз, и будет открываться... в истории» (VII, 156).

Но в реальной историософии Шмелева вести русский народ

---

<sup>13</sup> Ср.: Мф.21:44.

<sup>14</sup> Шмеман Александр, прот. Ответ Солженицину // Указ.соч., с.808.

по путям Правды предназначено не преемникам апостолов – священству, а новым пророкам – русской интеллигенции.

«От пушкинского «Пророка» - «... и Бога глас ко мне воззвал: «Восстань Пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею Моей! И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей!» - от гоголевских провидений судеб Руси, от некрасовского «Власа», богоборцев, провальников и глубинных душ Достоевского, - до его каторжан из Мертвого Дома, до исканий Правды Толстым, до мягких образов русских у Короленко, до баб немых у костра, внешней холодной ночью, в рассказе Чехова, и дальше в литературе нашей, все – сильное и глубокое – пронизанное лаской, светом, стоит на Христе, - на Боге и от Бога» (VI, 562). Они, эти новые пророки открыли всему миру русский Идеал: жить по-Божьи, искать Град Небесный, искать золотые ключи, которые отомкнут неведомые двери в неведомое Царство.

Все они для Шмелева – Великие России, но, смотрит он на них не церковным взглядом. Поэтому ставит рядом тех, кто рядом не стоял никогда: «два великана – Толстой и Достоевский». Первый был предан анафеме за свое противление Церкви, за извращение Священного Писания и христианского учения, за соблазн для множества верующих людей. Второй, пройдя через искания и испытания, обрел себя в полноте Православия, погрузившись в него всем своим существом, всей душой, всем сердцем, отразил это в своем творчестве, чем заслужил любовь и благодарность Церкви<sup>15</sup>.

Ни прежние, ни новые Великие России не смогли уберечь Россию от беды. Наряду с Великими, выразителями светлой стороны русского духа, создателями русской славы, появились и развили необычайную активность «отщепенцы духа», послужившие «потемкам духа», «водители неправды», «серая интеллигентская туча». Они не могли дать народу ключи неведомого Царства, потому что имели в своих руках только отмычку. Они были способны лишь поманить, обещать.

---

<sup>15</sup> Преп.Иустин (Попович). Достоевский о Европе и славянстве. М.-СПб., 2002.

А за ними пошли те, кто готов был практически осуществить Царство, но не то, неведомое, а вполне осязаемое, здесь на земле. Это «жадные до революций, конференций, делегаций, интерpellаций, фракций и депутатий, сторонники национализаций, конфискации, деклараций, экспроприаций, с потенциальным запалом в сторону террора и страшных до помрачения экзекуций, до оголения внешние, ходячие и сухие схемки неуловимых и отвлеченных выводов, они с первых же дней так легко нежданно давшейся революции потеряли из вида живое лицо, тело и душу родины и России. Дети по ее метрикам, знавшие ее мало или совсем не знавшие, они принимали и ее как отвлеченное нечто в революционном суждении своем. Часто совершенно чуждые ей по крови и духу, не знавшие и не любившие ее тысячелетней истории, ее не открывшихся им недренных целей и назначений в мире, они выделяли-кроили ее историю, как хотели, нанизывая на своего идола-болвана изготовленные по мудрой указке Маркса все подходящие лоскутки, которые они смогли подобрать из богатейшего ее скарба» (VI, 512).

За спиной же всех них стояли действительные новые вожаки. Их место работы – «лаборатории ядовито гнилых прививок, оборудованные интернациональными доцентами и экстраординарными профессорами от революции, по инструкциям заслуженных профессоров, собирающихся двинуться из-за немецких окопов, в запломбированных вагонах, - профессоров магов, у которых уже было все разработано и был наготове план: «зажечь и перевернуть мир» (VI, 525).

Эти новые вожаки народа совершенно точно уловили, чем надо поманить народ, пропев «Трескуче-звонкое слово безответственных болтунов во сне рожденного Интернационала»:

Кто был ничем – тот будет всем!

Революция показала, что все ценное, созданное национальным духом-гением, отложившееся в национальной культуре, все еще не дало основательных корней, которые бы проросли в глубины народной жизни. Потому-то и стало возможным действие сил-чар новых вожаков на народные массы. Они предложили «фальшивый ключ, ключ-отмычку темным дверям многогранной души народа, - ложь, клевету, злобу и безудержное потакание инстинктам.

На этом ключе-отмычке подполье вырезало заманчивые слова: «все можно» и «нашарап!» Они очень хорошо учили магическую силу этого «нашарап!» И не ошиблись» (VI, 516). Пошли в ход пылкие чужие речи, «взятые напрокат из архива Великой Французской революции», предложены подарки: самоопределение народностей, мир без аннексий и контрибуций. Но о чем бы ни говорили новые вожаки, во всем слышалось: «Есть только одно: ненависть, ненависть, ненависть; есть беспредметное, с ножом, с топором, с дубиной, с кувалдой, «вперед!», есть подтасованная схема в жизни, в которой две краски – белая (красная), для «рабочего» и черная, для «деспота и иже с ним пребывают» (VI, 520).

За этими нетерпеливцами душа России, «молодая, ждавшая Жениха своего, вся в порывах на высоту и в дали» пошла, «и, не дождавшись Града, метнулась к аду...» (VI, 563-564).

Революция свершилась. Она унизила, опозорила, разграбила и погубила Россию как государство, как общественный строй. Лучшие – убиты, лучшее – отнято. Народ онемел.

Но душу России убить нельзя. Мистическое единение России и Христа разорвать не может никто. Великую Правду изменить нельзя. Народ, пусть временно обманутый, наделавший много ошибок и понесший страшные потери, продолжает жить. Дело за главным – должны встать новые Великие России. «Нужно прислушиваться к тем, кто верит в Великую Христову Правду, верит, что надо ее свести на землю. Есть такие за рубежом, - учителя р у с с к о й Правды. Они прислушиваются к недрам, они их чувствуют. Они знают и чутко верят, что нужно Величайшее положить в основу, - Слово Животворящее, Слово Бога. Будить и поднимать души, звать к подвигу:

«Да отвержется себе и возьмет крест свой и по Мне грядет!»

Грядем, Господи!.. Россия будет! Мы ее будем делать!.. По деревням и городам, по всей земле русской пронесем мы Слово творящее, понесем в рубищах, понесем в огне веры, - и выйдем искры, и раздуем святое пламя!» (VI, 570-571).

Воскреснет Россия и совершит свою миссию в мире. «Вот она, миссия, - Бога найти Живого, всю жизнь Богом наполнить, Бога показать Родине и миру» (VI, 572).

Бог, открывший Себя в истории, Христос, «обвенчанный» с Россией. Этот Бог, живущий вне Церкви, скажет новое Слово, прозвучит новое Евангелие. В рассказе «Сидя на берегу» (1925) писатель вспоминает сон. Он видит, как в храме выносятся Евангелие. Дьякон возглашает: «Премудрость вонмем». «Евангелие. Весть Благая. Когда же Оно откроется, Святое Евангелие России, - и все прочтется?.. Не сон мой, а осталось во мне от жизни. Это – живое слово простого человека, деревенского слесаря-пьянчужки. Запало оно мне в душу – и вот, на чужой стороне открылось:

- «Про нашу Россию теперь... в Евангелии писать надо, как Страсти Христовы! Все записать, чтобы навеки помнили... и читать в церкви, благословясь!..» (VII, 608-609).

Попутно заметим, что в историософии Шмелева вообще никак не отразилась роль самодержавия. Ни хорошего, ни плохого слова он не говорит о русских монархах. Стремясь глубоко, мистически постичь существо России, он совсем не ощущал, кем для воспетого им русского народа являлся монарх – отцом. Потому он практически никогда не говорит об Отечестве, но только – о Родине. Но как же быть с тем, что веками реальный русский народ жил, а, если надо, и умирал за «веру, царя и Отечество»? Церковь устами св.прав.Иоанна Кронштадтского, старшего современника Шмелева, исповедовала: «Русский Государь есть единственный православный помазанник Божий и образ державы Божией на земле, первый венценосный сын Церкви»<sup>16</sup>. «О всех и о всем печется царь, как общий всех отец и попечитель. А потому подданные обязаны его искренне любить, ему и властям, от него поставленным, охотно повиноваться, за него молиться и – каждый на своем месте и в своем звании – умножать данные Богом таланты, трудиться для своего и общего блага. Все должны, находясь под державой царя земного, благоговеть перед державой Господа Вседержителя, поставляющего народам для их блага и благоденствия царей земных»<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Св.прав.Иоанн Кронштадтский. Самодержавие // Он же. Полный годичный круг поучений. М., 1997, с.330-331.

<sup>17</sup> Он же. Царское служение // Там же, с.324.

Какая-то «безотцовщина» присутствует в исканиях писателя: не чувствует царство, не чувствует священство.

В художественных и публицистических произведениях 1924-1925 гг. И.С.Шмелев проговорил, описал то, что являлось его верой, его фундаментом и смыслом жизни и творчества. Его историософия – не плод кабинетных размышлений, не книжная теория, а боль за самое дорогое – за Россию, поруганную, истекающую кровью. Это крик души. Здесь все искренне, все пережито.

И потому с ответной болью следует признать, что пройдя через революционный перелом на другой берег истории, писатель перенес туда ту глубинную нечувственность к Церкви, непонимание ее места в жизни человека, в его пути к Богу, Небесному Царству, непонимание истории Руси-России, которая вся была создана и держалась на Церкви. Более того, даже та самая русская интеллигенция, которой Шмелев отводит роль новых пророков, Великих России, единственно способных показать народу и миру небесные пути, эта интеллигенция могла появиться только в лоне Церкви, со всеми ее исканиями идеала, готовностью к жертве, подвигу. Историософия Шмелева носит все черты мифа, создаваемого художественным воображением. И как всякий миф, она отделена от живой жизни и от реальной истории. Как точно заметил С.Л.Франк: «Русский интеллигент сторонится реальности, бежит от мира, живет вне подлинной, исторической, бытовой жизни, в мире призраков, мечтаний, благочестивой веры». Не вызывает сомнения, что порождена она искренней любовью писателя к Родине, ощущением ее единственности, «особенной стати». Но, будучи мифом, она, не смотря на видимую отсылку к христианству, на деле является религиозным гуманизмом и содержит в себе духовную ложь.

Историософия Шмелева заставляет еще раз вспомнить размышления священномученика Илариона (Троицкого) о своеобразии веры русской интеллигенции накануне революции 1917 г. Незадолго до этих событий он написал статью «Христианство или Церковь?».

Владыка отмечает, что в начале XX века заметно стало ощущаться какое-то болезненное состояние религиозного сознания

образованной части русского общества. Эта болезнь выразила себя в попытке отделения христианства от Церкви. Такая позиция совершенно не соответствует пониманию христианства, которое никогда не было только учением, но с самого начала явило себя как новая жизнь человечества, то есть Церковь. Само христианское учение осуществляло себя только силой Святого Духа, живущего в Церкви. Святитель многократно повторяет святоотеческую истину: «Вне Церкви и без Церкви невозможна христианская жизнь». Ему близки слова свт.Киприана Карфагенского: «Тот не может уже иметь отцом Бога, кто не имеет мать Церковь». Границы христианства совпадают с границами Церкви.

С сожалением свидетельствует владыка Иларион о том, среди всех догматов нашей веры, заключенных в Символе веры, именно истина Церкви оказалась наиболее искаженной и непринятой даже некоторыми из тех, кто считает себя частью церковного сообщества. Такие рассуждают: «Христианство, о! Это, конечно, высокое и великое учение. Кто же против этого спорит?» Так примерно отзываются о христианстве. Но в то же самое время как бы считается признаком хорошего тона быть в какой-то часто бессознательной оппозиции всему церковному. В душе многих наших современников как-то вместе уживаются почтение к христианству и пренебрежение к Церкви... Люди, по метрикам значащиеся «вероисповедания православного», с каким-то непонятным злорадством указывают на действительные, а чаще на вымышленные недостатки церковной жизни, *не скорбят об этих недостатках, по заповеди Апостола: «страдает ли один член, страдают с ним все члены» (1 Кор.12:26)*<sup>18</sup>. И в такой среде всегда встречается невообразимая путаница понятий, причудливые «искания», переходящие в «блуждание».

Интеллигенция много сделала для ужасной подделки веры Христовой. «Христос Сам сказал, что Он создает Церковь, но разве теперь говорят о Церкви? Нет, теперь предпочитают говорить о христианстве, причем христианство рассматривают как какое-ни-

---

<sup>18</sup> Свмч.Иларион (Троицкий) Христианство или Церковь? // Он же. Без Церкви нет спасения. М.-СПб., 1999, с.105-106.



будь философское или моральное учение... Эта подделка Церкви христианством, как тонкий яд, проникает в сознание даже и церковного общества. Она – тонкий яд, потому что он скрыт под цветистой оболочкой громких речей о недостатках «исторического христианства (т.е. Церкви?), об его будто бы несоответствии какому-то «чистому», «евангельскому» христианству. Евангелие и Христос противопоставляются Церкви»<sup>19</sup>.

Таким последовательным проповедником бесцерковного христианства стал Лев Толстой. Сначала он объявил Христа только учителем, а затем договорился до отрицания Церкви и глумления над Святыми Тайнами.

*«Насущной потребностью настоящего времени, - пишет свт. Иларион, - поэтому можно считать открытое исповедание той непреложной истины, что Христос создал именно Церковь и что совершенно нелепо отделять христианство от Церкви и говорить о каком-то христианстве помимо святой Христовой Церкви Православной»<sup>20</sup>.*

Совершенно точно определяет свт. Иларион состояние души тех, кто имел размытые понятия о христианстве и Церкви: «Промежуточные понятия религии и христианства только отдаляют людей от истины, потому что для искренне ищущего Бога они являются своего рода мытарствами. На путь этих исканий-мытарств вступают многие, но далеко не все с успехом проходят его. Значительная часть так и «ходит по мытарствам», не находя блаженного покоя... Полное успокоение наступает только тогда, когда человек уверует в Церковь, он всем своим существом воспримет идею Церкви так, что для него немислимым будет отделение христианства от Церкви. Тогда начинается действительное ощущение церковной жизни... Поэтому только тот, кто уверовал в Церковь, кто идеей Церкви руководится в оценке явлений жизни и в направлении своей личной жизни, кто, наконец, почувствовал в себе жизнь церковную, тот и только тот на правильном пути»<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Там же, с.87-88.

<sup>20</sup> Там же, с.115.

<sup>21</sup> Там же, с.111-112.

Историософские произведения И.С.Шмелева середины и второй половины 20-х гг. показывают, что он еще не обрел так чаемого им покоя и мира в душе, которые являются зрелым плодом духовного опыта. Многие пережив, прочувствовав и продумав, писатель по-прежнему находился в поиске. Хотя важно было уже и то, что он двигался, был в пути.

### **«Наука о России»**

В 1930 г. И.С.Шмелев пишет статью «Мученица Татьяна», посвященную 175-летию основания Московского Императорского университета, в котором когда-то учился сам. Вспоминая студенческие годы, он отдает должное прекрасным преподавателям, научному уровню образования, но признает то, в чем не чувствовал потребности в молодые годы: ни разу за годы учебы он не слышал «сильных и вдохновенных слов – о р о д н о м» (VIII, 501). Но ведь русское просвещение шло особым путем: «В основе русского просвещения, с первых шагов его, заложено слово Божие, и путь нашему просвещению – так уж случилось это – особенный указан. Нравственно глубоки основы – корни русского просвещения. И цвет его был – свет истины. Это было – в ранней заре его. Просвещались и ум, и сердце. С годами отмирало и, наконец, совсем отошло» (VIII, 502). Уже в XIX веке не было системы познания России.

И далее Шмелев формулирует основную задачу современных просветителей, понимая ее и как свою задачу: «Я не ученый, знаю. Но сердцем и болью знаю, что нет и не было никогда у нас науки – науки о России. Ее мы должны создать. Вернее – должны собрать. Она уже есть, в возможностях, - богатая наука» (VIII, 504).

Писатель чувствует свой долг перед теми, кто оказался оторванным от Родины на годы, для большинства – навсегда, и в еще большей степени – перед теми новыми поколениями, которые возрастали в советском государстве, ничего не зная и не имея возможности вспомнить, что есть настоящая Россия, какова ее душа. Исполняя свой нравственный долг, Шмелев приступает к написа-

нию цикла художественных произведений, которые призваны были стать одной из страниц этой необходимой науки о России. Так появляются «Богомолье», «Старый Валаам», «Лето Господне», «На поле Куликовом», «Пути небесные». Именно эти произведения сегодня ассоциируются с именем Шмелева. Современный читатель находит в них удивительную тишину, свет, мир души. Кажется, все это легко и свободно изливалось из сердца писателя.

На самом деле все было не так. Жизнь Шмелева в эти годы, его поиски, потери и обретения, душевные муки и радость о посещении Божиим показывают, сколь непросто давалась ему «наука о России».

В эмиграции семья Шмелевых старалась своими малыми силами поддерживать уклад жизни, как в России. Крестник Ивана Сергеевича Ив Жантийом вспоминал, что церковные праздники они отмечали по всем правилам, строго соблюдали пост. Ходили в храм на улице Дарю и на Сергиевское подворье. На Пасху готовили пасху и куличи, крашеные яйца, христосовались. На Рождество украшали елку, приглашали детей. Соблюдалась и традиция Прощенного Воскресенья. Также серьезно Иван Сергеевич старался относиться к обязанностям крестного отца<sup>22</sup>. Он искренне *старался*.

Из этих же воспоминаний можно сделать вывод о том, что весь уклад держался, прежде всего, на Ольге Александровне, супруге Ивана Сергеевича. Она была настоящим ангелом-хранителем писателя, заботилась о нем как наседка о своих цыплятах, всегда являлась первой слушательницей всего, написанного мужем. К ее советам писатель относился внимательно и нередко переделывал текст после ее критики.

Поэтому страшной трагедией для Шмелева стала смерть Ольги Александровны, умершей от приступа грудной жабы в 1936 году. Это был второй после потери сына удар, с которым писатель долго не мог справиться. Ему хотелось умереть вместе с ней, он утратил всякую волю к жизни. «Полное опустошение, тупость, отчаяние. Вчера – выл, зверем выл в пустой квартире. Молитва облег-

---

<sup>22</sup> Жантийом-Кутырин Ив Мой Дядя Ваня. М., 2001, СС.12, 16-19.

чает, как-то отупляет. Вера – я силой ее тяну, – не поднимает душу. Все – рухнуло», – писал он своему другу И.Ильину. Как и после смерти сына он чувствовал свою богооставленность. Ильину он признавался: «Я теряю Бога». Только встреча и беседы с Ильиным, а также искреннее сострадание и сочувствие от других близких людей поддерживали у писателя дух жизни.

Одновременно обострились и собственные болезни, доводившие его иногда до состояния, близкого к смерти. Кроме всего, Шмелев оказался неустроен в быту, мучительно долго решался вопрос о жилье, непросто складывалась судьба его произведений, неоднозначными были отношения к нему в эмигрантской среде. Под влиянием этих испытаний писатель часто приходил в состояние духовного кризиса. Попытки преодолеть кризис показывают, что душа его (а ведь писателю было уже за 60 лет) так пока еще и не обрела Церковь как единственное место, куда нужно нести неизбывную печаль свою, и Православие не стало ответом на все, в том числе и предельные вопросы: в чем смысл страдания и смерти?

Надеясь успокоиться, Шмелев уходит в книги, обращаясь к чужим мыслям. Так было и прежде. Ильину он однажды написал: «Бросаюсь от Вас к Вл. Соловьеву, к Ап. Павлу... – и во мне многое раздрается, многое я не могу внять, бунтую-барахтаюсь... Вцепился в “Чтения о богочеловечестве”, Соловьева... Господи, сколько я проглядел или мельком только видел. Хочу “до дна” опуститься, весь “гад подводный ход” видеть, слышать и – добраться духом до “ангелов полета”». Сейчас, после смерти жены он искал утешение в «Явлении Христа» Г. Чемберлена, в трудах протестантского теолога Э. Пресансэ, в «Основании веры» А. Бальфура, британского философа и политика; он обращался к трудам православного богослова, протоиерея Т. И. Буткевича, прочитал книгу архиепископа херсонского Иннокентия «Последние дни Христа». Наконец, решил еще раз прочитать Писание. Душевные терзания не оставили его и в последующие годы. Ильину он позже напишет: «Штатается во мне все, ищу Бога, хочу укрепиться, зацепиться». И в другом письме: «Бьюсь в сомнениях, не найду простой веры, детской, горькой». Иногда возникали мысли ос-

тавить все и уйти в монастырь, но потом Шмелев чувствовал себя неготовым к такому шагу.

Когда писателю было уже за семьдесят, он признавался в письме О.А. Бредиус-Субботиной: «У меня все свое, как и понятие «греха», и - православия»».

Но бывали моменты, когда Иван Сергеевич с особой силой чувствовал посещение Божие. Так, Великим Постом 1933 года, он ощутил печаль от того, что уже три года не был на Пасхальной заутрене. Превозмогая болезнь, он добирался до храма. «Прекратившиеся, было, боли поднялись... Слабость, ни рукой, ни ногой... Боли донимали, скрючившись сидел в метро... В десять добрались до Сергиева Подворья. Святая тишина обвела душу. Боли ушли. И вот, стала наплывать-нарождаться... радость! Стойко, не чувствуя ни слабости, ни болей, в необычайной радости слушал Заутреню, исповедовались, обедню всю выстояли, приобщились... - и такой чудесный внутренний свет засиял, такой покой, такую близость к несказанному, Божиему, почувствовал я, что не помню - когда так чувствовал! Как бы прикоснулся к Тайне: нет смерти, все отшедшее – *есть*, здесь вот, около... И когда я так чувствовал, вглядываясь сквозь слезы в над-иконостас, ввысь... – это было между Заутренней и обедней... – странное случилось! Я думал о нашем мальчике, отшедшем, о Сережечке нашем... – в душевной тишости думал – нет смерти, *здесь*, с нами он... и все с нами и нет ни “было”, ни “будет”, а – *есть*, вечно *есть*...». И он писал потом Ильину, что понял: без Церкви никак нельзя. Ему захотелось обязательно дождаться следующего Великого Поста, отстоять все службы и жить с Господом.

С особым чувством вспоминал Иван Сергеевич и явное заступничество преп.Серафима Саровского в тот момент, когда язвенная болезнь грозила перерасти в рак и врачи готовили Шмелева к сложной операции. Он пробовал молиться: «Но какая моя молитва! Не то, чтобы я был неверующим, нет: но крепкой веры, прочной духовности не было во мне». «Не столько из глубокой душевной потребности, а скорее – по православному обычаю» он исповедовался и причастился. Боль немного отступила. Шмелев уснул и во сне увидел на рентгеновском снимке не подпись леча-

щего врача, а слова «св.Серафим». Он ощутил, как болезнь стала отступать, не понадобилась и операция. «Во мне укрепилась вера в мир иной, неизвестный нами, лишь чуемый, но – существующий подлинно. Необыкновенное это чувство – радости! – для маловеров!» (VIII, 509,511).

Во время Второй мировой войны Шмелев находился в Париже. Однажды во время немецкого авианалета четыре бомбы попали в соседние дома и превратили их в руины. В тот день Иван Сергеевич очень плохо чувствовал себя и залегался в постели. Это спасло ему жизнь. Осколками разбило окна, изрешетило кресло. Вдруг маленький листок влетел в окно и опустился прямо у ног писателя. Это была репродукция «Богородица с Иисусом» итальянского художника Балдовинетти. Иван Сергеевич воспринял это как знамение помощи Божией Матери, спасшей его от неминуемой гибели. На следующий день он отслужил благодарственный молебен.

Все годы жизни в эмиграции Шмелев считал своим основным делом не только писать, но и посильно служить оставшейся вдалеке Родине. Он слагал «науку о России». Каждый раз после очередного переживания он вновь и вновь возвращался к мыслям о своей миссии. Шмелев искренне верил в то, что в самое ближайшее время как в эмигрантской среде, так и на Родине появится новое поколение, воспитание которого в духе любви к России и есть самая важная задача тех, кто надеется на возрождение и Воскресение России. Для них, молодых, он писал о России, вере, традиции.

В конце 1934 – начале 1935 года он получил от одного игумена образ преподобного Серафима Саровского с надписью «Бытописателю русского благочестия». Образ был написан на старом Афоне, лежал ночь на камне прп.Серафима в Сарове. Шмелевы сделали для иконы кивот и сами его вызолотили. Вот с этим образом Шмелев полагал вернуться в Россию через несколько лет.

Из такого, как мы видим, очень непростого душевного состояния писателя и появляется цикл его известных произведений. Ко всем ним могут быть отнесены его слова, сказанные им самим

о своей книге «Лето Господне»: «Оглядываюсь: как я мог написать ее?! Если бы Вы знали, как я страдал, как был близок к утрате себя, были дни, когда я чувствовал, что пропадаю, идет на меня тьма, ужас... потеря рассудка...».

### **«Богомолье» (1930-1931)**

В основе повести лежат реальные события времен детства писателя. Лет в 5-6 он вместе со взрослыми совершил паломничество в Троице-Сергиеву Лавру. Там он принял благословение от старца Варнавы, который еще до их личной встречи через мать передал ему крестик, сказав при этом: «А моему... крестик, крестик!» Пережив Крымскую трагедию, писатель не раз вспоминал прозорливого старца. Позже, в 1936 г. он посвятит преп.Варнаве очерк «У старца Варнавы: К 30-летию со дня его кончины».

Также реален и один из главных героев повести – плотник Михаил Панкратович Горкин, который стал утешителем и наставником Вани. Уже в старости Шмелев писал, что душу его сотворили отец и Горкин.

Повесть открывает новый этап художественного творчества И.С.Шмелева. Сам он полагал, что если когда и написал что путное, так это «Богомолье». Ему хотелось дать образ России, православного народа в форме, напоминающей эпос, сказание.

В повести рассказывается о паломничестве мальчика Вани, плотника Горкина, бараночника Феди, кучера Антипы, банщицы Домны Панферовны и ее внучки Анюты в Троице-Сергиеву Лавру. Самым важным является то, что повествование ведется от лица ребенка. Многие читатели и литературоведы объясняют это автобиографическим моментом: Иван Сергеевич вспоминает свое детство и талантливо рассказывает о нем языком и впечатлениями ребенка.

Это верно только отчасти. Да, сам писатель, читая «Богомолье» Бальмонту, говорил: «Приоткрываю детство, вызываю...». Но мы уже видели, обращаясь к ранним произведениям Шмелева, каковы были впечатления детства, связанные с Церковью. По крайней мере, их не назовешь однозначно светлыми и радостными.

«Богомолье», как позже и «Лето Господне», словно наполнено новым восприятием уже раз описанного в совершенно иных красках. Это новое восприятие является не столько результатом переосмысления того, что раньше виделось в другом свете, сколько желанием Шмелева, используя события прошлого, создать, по словам современного литературоведа О.Н.Михайлова, «свой особенный, «круглый» мир, маленькую вселенную, от которой исходит свет патриотического одушевления и высшей нравственности».

Эти произведения только условно можно считать автобиографическими. В большей степени они являются результатом следования той художественной идеологии, которой придерживается Шмелев, складывающий «науку о России». И повествование, ведущееся от лица ребенка, приобретает новый смысл.

Иван Сергеевич хорошо знал Евангелие, многократно цитировал его в своих произведениях. О детской вере в Евангелии сказано особо. Ее приводит в пример взрослым Сам Христос:

«Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их» (Мк.10:13-16).

Шмелев желает показать не дореволюционную Россию времён своего детства, а *Святую Русь*. Это хорошо понял И. Ильин, написавший в 1935 г. статью «Святая Русь. “Богомолье” Шмелева». Ильин считал, что теперь интеллигенция перестанет произносить «Святая Русь» с иронией. Она святая не потому, что в ней нет грешников и порока, а потому, что есть жажда праведности; Шмелев показал не идиллическую Русь, а настоящую, подлинную; в его повествовании «все просто, как сама Россия, как русская душа, как русский быт». Он писал: «Так о России не говорил еще никто. Но живая *субстанция Руси* – всегда была именно такова».

Святую Русь лучше всего показать детским впечатлением, уви-



деть детскими глазами, способными рассмотреть святое в обыденном. Шмелев верно полагал, что детская вера может свидетельствовать о правде непосредственнее и точнее, чем высокоумные книжные рассуждения. Но может ли писатель художественным способом воспроизвести взгляд безмятежной, чистой и радостной детской веры, когда сам в детстве не имел такой веры, по крайней мере, в такой полноте, как мы встречаем у Вани из «Богомолья» и «Лета Господня»?

Писатель, бесспорно, имеет право на художественное воображение. Более того, оно является источником искусства, позволяя творческому вымыслу любой материал претворить в жизнь. Мера же успеха зависит не от фактичности как таковой, а от подлинности того жизненного опыта, к которому писатель желает приобщить своего читателя через создаваемый им художественный образ жизни. Факты в художественном произведении могут быть вымышленными, но опыт обязан быть подлинным. И особенно требовательным к себе должен быть писатель, желающий открыть нам мир веры. Нужно ли создавать образы, имеющие вид *правдоподобия*, тогда как сердце «алчет и жаждет» *правды* чтобы насытиться?

Вопрос о том, есть ли в «Богомолье» та самая *правда* - вопрос открытый. Каждый читатель сам ответит на него, в зависимости от того, как отзовется его сердце. Одно можно сказать с уверенностью: Шмелев *старался*. Подобно тому, как он *старался* в своей жизни приближаться к Церкви, точно так же он *старается* и как писатель.

Мы не будем пересказывать сюжет повести, он хорошо известен. Хочется лишь поделиться своими, наверняка, спорными, впечатлениями от того, какой образ Церкви складывается через описание участия в паломничестве к святыне. Поделиться тем, как это произведение отозвалось в моем сердце.

Заметно, выпукло герои произведения *стремятся* соответствовать художественной идеологии автора. Они вырываются из ада повседневности и сразу же меняются, начав путь, ведущий к святыне: «Мы – на святой дороге, и теперь мы другие, богомольцы. И все кажется мне особенным. Небо – как на святых картинах»

ках, чудесного голубого цвета, такое радостное. Мягкая, пыльная дорога, с травкой по сторонам, не простая дорога, а святая: называется – Троицкая. И люди ласковые такие, все поминают Господа: «довел бы Господь к Угоднику», «пошли вам, Господи!» - будто мы все родные» (VIII, 46).

На этой дороге даже трактир называется «Отрада». Хозяин трактира Брехунов ведет паломников в «богомольный садик», говоря при этом «так благочестиво». Тут много богомольцев, «и все спрашивают друг друга ласково: «Не к преподобному ли изволите?» - и сами радостно говорят, что и они тоже к преподобному, если Господь сподобит. Будто тут все родные. Ходят разносчики со святым товаром – с крестиками, с образками, со святыми картинками и книжечками про «жития»...

- И как все благочестиво и хорошо, смотреть приятно! – говорит Горкин радостно» (VIII, 48).

Брехунов велит подать чай, а сам приговаривает:

«Русский любит чай в прикуску

Да покруче кипяток!»

Потом спохватывается, что ведь это богомольцы, и исправляется, приговаривая «по богомольному», как «монахи любят»: «Господа помолим, чайком грешки промоем!»

Когда не забывается, то говорит: «Глядеть на вас утешительно, как благолепие соблюдаете». А когда забывается, кричит на бедных богомольцев: «Как они пробрались? Гнать их в шею!» Половые гонят. Одному старику дали по загривку. Старушку волоком поволокли по земле.

Брехунова упрекают, он оправдывается: вам хорошо, попили да пошли, а его прямо одолели! «Весь спитой чай раздаю, кипятком хоть залейся, и за все три монеты только! Они за день боле полтинника нахнычут, а есть такие, что от стойки не отгонишь, пятками швыряются».

Так и на протяжении всего пути. Все *стараются*. И пока не забывают о том, что участвуют в богомолье, говорят благочестиво, о святом. А когда забывают... Вот один из забывших – отец дьякон. Кроме старца Варнавы это – единственный священнослужитель, описанный с характером в данной повести. «Смотрим – а

это от Спаса-в-Наливках дьякон, со всей своей оравой. Машет красным платком из елок, кричит, как в трубу, зычно-зычно:

- Эй, на-ши, замоскворецкие!.. В гости ко мне, на дачу!..

Надо бы торопиться, а отказаться нельзя: знакомый человек, а главное – что лицо духовное. Смотрим – сидят под елками, как цыгане, и костерок дымится, и телега, огромная, как барка. И всякое изобилие закусок, и квас бутылочный, и даже самоварчик! Отец дьякон – веселый, красный, из бани словно, в летнем подряснике нараспашку, волосы копной... Едут уже третий день с прохладцей, в лесу ночуют, хоть и страшно разбойников. А на случай и лом в телеге.

Дьякон всех приглашает закусить, предлагает «лютой перцовки», от живота, - всегда уж прихватывает в дорогу, от холеры, - но Горкин покорно благодарит:

- Говеем, отец дьякон... никак нельзя-с!

И ни лещика. Ничего. Дьякон жмет-трясет Горкина, смеется:

- А-а, подстароста святой... прежде отца дьякона в рай хочешь? Врё-ошь!»

А рядом, в соседних елках еще «забывшиеся» - певчие: Ломшаков, Батырин, Костиков. Спят, как попало, пьяные. Дьякон шутит:

«- На тропарях так и катятся всю дорогу, в рай прямо угодят!

Дьяконица все головой качает и отнимает у дьякона графинчик:

- Сам-то не угоди!

Пожалели мы их, поохали. Конечно, не нам судить, а все-таки бы посдержаться надо...

А тут и певчие пробудились, узнали нас, ухватились за Горкина и не отпускают: выпей да выпей с нами!

- Ты, говорят, - самый наш драгоценный, тебе цены нет... выпьем все за твоё здоровье, да за отца дьякона, да за матушку дьяконицу, и тебе любимое пропоем – «Ныне отпускаеши раба Твоего»... и тогда отпустим!

Никак не вырвешься. И отец дьякон за Горкина уцепился, на колени к себе голову его прижал – не отпускает...

Горкин уж листик белорыбицы за щечку положил, съел буд-

то, и перцовки для виду отпил – зубы пополоскал и выплюнул. Очень они обрадовались и спели нам «Ныне отпускаеши». И так-то трогательно, что у всех слезы стали, отец дьякон разрыдался... Насилу-то вырвались мы от них, чтобы от греха подальше» (VIII, 105-108).

Этот, пусть и не центральный эпизод повести, показывает, что многое из прежнего восприятия Церкви автор сохранил и сейчас. В частности – неприязнь к духовенству. Среди всех паломников, идущих в Лавру, которые все-таки *стараются*, он – единственный священнослужитель, представляющий здесь свое сословие, и он обнаруживает свое недостойство, чуждость святому труду богомолья<sup>23</sup>. Совсем другое дело – богомольцы из простого народа. Изредка и среди них встречаются праздношатающиеся, но в большинстве своем они знают, зачем идут, и если ошибаются, впадают в искушения, то быстро и исправляются. Они и есть носители святой души России. Ко всем ним могут быть отнесены слова, сказанные кем-то о Ване и его спутниках: «Правильные вы, глядеть на вас радостно».

В повести есть интересные сюжетные линии, например, удивительное знакомство с купцом Аксеновым, есть очень добрые

---

<sup>23</sup> И в других произведениях И.С.Шмелева 30-х гг. все такие же представители духовенства, продолжающие ряд, начатый писателем еще в дореволюционный период. Так, в рассказе «Книжники... но не фарисеи» Шмелев вспоминает свои гимназические годы. Однажды к ним в дом пришли славить Рождество Христово протоиерей и дьякон из Мещанского училища. К этому времени они уже объехали весь учительский и служебный персонал, господ-членов Попечительского Совета, почетных членов и жертвователей. «И везде надо хоть пригубить и закусить». К Шмелевым они пришли «необыкновенно веселые и разговорчивые». Батюшка отказывается даже от сухарика: «Пе-ре-полнен!» Но дьякон «после упрасиваний соизволяет принять мадерцы и принимает размашисто». Следуют различные истории, связанные с увлечением приключенческой литературой. «Был случай в одном приходе, - говорит батюшка, - надо «Восстаните», всенощную возглашать, а отец дьякон на окошке, у жертвенника, одним глазом «Вокруг света» дочитывает, про сокровища. Вот увлечение-то до чего доводит». Все смеются, и громче всех отец дьякон» (VIII, 478-479). В рассказе «Веселенькая свадьба» среди гостей встречаем протодьякона Примагентова. «Все его ублажают: надо ему загрунтоваться, многолетие будет возглашать. Огромный, страшно даже смотреть, как ест». Ну и «на-многолетил» (VIII, 500,502).

слова о старце Варнаве, есть очевидно реальные детские воспоминания (вид и поведение нищих, давка у раки преп.Сергия). Но в целом создается впечатление, что автор стремится написать «правильное» произведение. И от обилия умилительных восхищений и уменьшительно-ласкательных суффиксов нет ощущения подлинно детского восприятия богомолья и присутствия свидетельствующей о себе правды. За описаниями внешней красоты природы, монастыря, поступков отдельных людей, насыщенными эмоциями автора, в конечном итоге, остается непонятной, а в чем же цель богомолья, как происходит внутренняя встреча человека со святыней. И, если встреча произошла, и, как «молитвенно» говорит Горкин, «вот мы и помолились и благодати сподобились», почему никто в сердце не уносит с собой той радости, о которой Христос сказал: «И радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин.16,22)? Ваня и его спутники отправляются в обратный путь. «Навстречу – богомольцы, идут на радость. А мы отрадовались, и скучно нам» (VIII, 185). Подлинная встреча со святыней происходит не через внешнее рассматривание, а в глубине церковной жизни, к которой принадлежит и святыня, и человек. И если такой опыт жизни в Церкви у человека отсутствовал, его не удастся восполнить художественным воображением.

Как мы уже сказали, Шмелев действительно искренне *старался* написать *правильное* произведение, в котором явила бы себя душа России. Известно, что автор любит свое произведение. И не каждый способен почувствовать неверные ноты в его звучании, услышать их несоответствие голосу правды реального мира Божия. А услышав, повторить то, что сделал Н.В.Гоголь со вторым томом «Мертвых душ».

Между тем, и сам Шмелев умел слышать фальшь, которую встречал у других, там, где внешняя правильность слов и поведения не соответствовала реальному опыту души. Еще в 1926 г. он написал рассказ «Блаженные». Прощаясь с Россией перед отъездом за границу, Шмелев едет в одно имение к своим давним знакомым, чтобы сообщить им радостное известие: племянник, которого они считали погибшим, находится в безопасности и есть возможность передать ему что-нибудь.

«Старики заплакали тихими, радостными слезами, и я тут понял, какая произошла с ними перемена.

- Слава Богу! – благоговейно сказал педагог и перекрестился. – А это... - махнул он за окошко на именье, - теперь, после всего, - тлен! Да, тлен.

Раньше я никогда не видел, чтобы педагог крестился. Он слыл за «анархиста-индивидуалиста», переписывался с Кропоткиным и славился яростною борьбой с церковными школами, называя их мракобесием и сугубоквасною чушью. Теперь же над его койкой висела даже иконка, в веночке из незабудок, и лампадка.

Старушка, когда-то стриженная, когда-то ярая неверка, стала благообразной, под черным платочком, заколотым по-бабьи. Слушая мое сообщение, она часто крестилась и перебирала молитвенно губами.

- Господи Боже, сколько пережит и понято! – сказала она кротко. – Ну, да... мы опростились. Сколько было суеты, гордыни. Мы выросли духовно, и нам открылось с Сергеем Степанычем столько глубокого, столько действительно ценного, абсолютного!..

- Бог открылся?

- Да, Бог. Все сторает, а Он – родился. Для нас, по крайней мере.

Я не стал спрашивать. Но и в этом н о в о м я улавливал то неистовое, безотчетное, что когда-то кричало в речах старушки, когда она приводила меня к социализму.

- Перемены радикальные, и во всем... - говорил педагог, - но их надо искать, видеть духовным оком! Одни оподлились, зато другие показывают удивительную красоту, душевную. Та «правда» в народе, которую мы искали, которой поклонялись слепо, теперь открылась нам обновленной, просветленной, получила для нас уже иной смысл: не правда равенства в материальном, как предпосылка будущего социального устройства жизни, а Правды, как субстанции Божества, как воплощения Его в нас!..

Я ловил знакомые интонации диалектика и перерождения, глубины – не чувствовал: старые дрожжи слышались. И странным казалось сочетание темного образа, лампадки и ... ровно текучих слов» (VIII, 194-195).

Какой призыв к испытанию своей души, своего духовного опыта слышится в этих словах тому, кто отрешается от прежних заблуждений и хочет говорить языком Правды! Через четыре года после этого рассказа Шмелев напишет повесть «Богомолье»...

### ***«Лето Господне» (1928-1948)***

Еще в 1928 г. в газетном варианте появился рассказ «Рождество», положивший начало циклу рассказов, объединенных в конечной редакции в книгу под названием «Лето Господне: праздники, праздники-радости, скорби». Это произведение иногда называют венцом шмелевского творчества, посвященного православной России. О замысле книги нам говорит сам писатель: «В ней я показываю лицо Святой Руси, которую я ношу в своем сердце».

Книга почти не имеет сюжета. Только в последней части канвой повествования становится болезнь и смерть отца. Композицию книги определяет не сюжет, а годовой церковный круг праздников. Святая Русь видится Шмелеву в том, как глубоко в быт народа вошла и задавала всему тон, устроила душу народа церковная традиция, кульминацией которой являлись праздники. Без этой традиции душа русского человека могла легко соскользнуть в пропасть всевозможных пороков и страстей, но жажда прикосновения к священному, стыд в присутствии святыни за свои недостатки, обостренное чувство совести делали русских людей народом Божиим, определяли их праздники и будни.

Как и в «Богомолье», повествование ведется от лица ребенка. Не всегда писателю удается удержать легкость и непринужденность детского взгляда. Заметно желание подробно рассказать, как все было устроено. Автор включает в текст книги отрывки из тропарей праздников, стихир, кондаков, псалмов, отрывки из «Великого покаянного канона» св. Андрея Критского и Евангелия; рассказывает о церковных службах, об убранстве церкви в Великий Пост, Троицу, в Преображение Господне. В помощь для работы над произведением историк А.В. Карташев приносил Шмелеву из библиотеки десятки томов специальной литературы, а Часослов, Октоих, Четьи-Минеи писатель купил себе сам.

Те художественные приемы, которые мы находим в «Богомолье», здесь использованы максимально. Что же получилось? Задавая этот вопрос, мы имеем в виду не художественные достоинства этой книги, о которых много и справедливо сказано. Нам важно понять: раскрылся ли замысел автора – показать правду Святой Руси?

Друг и помощник писателя И.Ильин<sup>24</sup> не сомневался в этом: «Замечательный художник, страдающего и поющего сердца, сказал здесь некую великую правду о России. Он высказал и показал ее с той законченною художественною простотою, с тою ненарочитостью, с той редкой безыскусственностью, которая дается только душам предельной искренности и последней глубины ... Россия была такой».

И все же, когда мы говорим о правде Святой Руси, следует признать, что она раскрывается только в правильном понимании того, как соотносятся историческая Россия и Православная Церковь. Для Шмелева Церковь являлась важнейшей составной частью русской истории, культуры, быта, традиций. Она превращалась в обычай, следование которому не предъявляло предельных требований к внутренней жизни человека. Следуют обычаю все, потому что «так надо», «так заведено».

Церковь как часть великой России. Так воспринимали их многие из тех, кто унес в эмиграцию в своем сердце воспоминания об ушедшей эпохе, в том числе и Шмелев. Так они воспитывали новое поколение, уже родившееся в эмиграции. Прот.Александр Шмеман вспоминал: «Церковь, Православие мы получили вот от этой России, и получили прежде всего как некое ее (России) воплощение, присутствие, ее частицу. И всегда была в этом некоторая светлая, но все же двусмысленность. Я помню старушку – учительницу математики в русской гимназии, где я одно время учился. В этой гимназии Великим постом было общее говение. И один мой приятель в то время решил, что он безбожник. Он пришел к учительнице и честно сказал: «Я не хочу приобщаться, я не верю

---

<sup>24</sup> Ему и его супруге И.С.Шмелев хотел посвятить «Лето Господне» при первом издании.



в Бога». А она ему ответила: «И дурак, это же добрый, старый русский обычай». Я не знаю, что было лучше в этих словах: что это добрый обычай, старый обычай или вообще обычай прежде всего? И мы вынесли из гимназии представление о вере главным образом как о части старого, доброго русского обычая»<sup>25</sup>.

Именно такое представление о Церкви мы выносим и из «Лета Господня». На этом стоял Шмелев. На этом он остановился.

Отец Александр Шмеман с этого начинал. Постепенно углублялось его представление о Церкви, она обрела в его сознании собственную жизнь: «Если раньше мы воспринимали их (Церковь, Православие, веру – авт.) в основном как часть русского опыта, может быть – лучшую часть, то теперь ... в душах наших стала выстраиваться некая иерархия ценностей. И мы начали задавать себе вечный вопрос: что значат слова Христа «Ищите прежде всего Царствия Божия, а остальное приложится вам»<sup>26</sup>? Что к чему прикладывается? Что из чего следует? И что составляет тот религиозный центр, который делается центром жизни? Центром всего, потому что все в мире с ним соотнесено»<sup>27</sup>. Уже не Церковь стала определяться по отношению к России, а Россия соотноситься с Церковью. И не Церковь в истории и культуре России, а Россия в контексте истории и жизни Вселенской Православной Церкви открылась в своем историческом пути. «Определение того, чем является в мире Россия, требует такого критерия, который был бы вне ее и выше ее. И этот критерий – полнота Церкви»<sup>28</sup>.

Россия и Церковь: что здесь целое, что часть? Это не вопрос отвлеченного богословия. От ответа на него зависит, какой духовный образ мы создаем, говоря «Россия», какую Россию мы ищем. Если первична Россия, а Церковь только вошла в ее историю, то роль Церкви будет состоять в том, чтобы освящать исторические формы бытия, привносить в жизнь людей высокие нор-

---

<sup>25</sup> Шмеман, Александр, прот. Духовные судьбы России // Собрание статей 1947-1983. М., 2009, с.671.

<sup>26</sup> «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф.6: 33).

<sup>27</sup> Шмеман Александр, прот. Указ.соч., с.672-673.

<sup>28</sup> Там же, с.674.

мы поведения, духовно и эстетически украшать земную жизнь. И тогда, когда это удастся в наибольшей степени, можно говорить о «золотом веке» истории, веке Святой Руси, относительно которого мы изменились в худшую сторону, и к которому нужно вернуться. При таком подходе неизбежна идеализация, спрямление, желание не замечать того, что противоречит картине «золотого века». Возникает ощущение «особой стати», во всем видится святое, «божественное» (как у Шмелева: «священные запахи», «священные звуки», «святой снег», «священный пар» и т.п.). Всякое изменение этого положения понимается как отступление, а будущее мыслится только как возврат.

Но если существует Божий замысел о всей человеческой истории, и русский народ на определенном этапе через приобщение к Церкви Христовой вошел в него, это означает, что святость Руси есть ее причастность Царству Небесному, ее подвижничество, всегда живущее тем, что не зависит от мира сего. В каждый период своей истории, будь это Киевская Русь, Московская Русь или послепетровская Россия, она участвовала в этом Божием замысле или отступала от участия в нем по-своему. И можно ли сказать, что наш народ в период советской России, во время жесточайших гонений на Церковь, каких еще не знала человеческая история, наш народ, засвидетельствовавший массовым подвигом мученичества и исповедничества свою верность Богу и его Церкви, был дальше от идеала Святой Руси, чем те, кого описал Шмелев в «Лете Господнем»?

В истории никуда возвратиться невозможно, да и не нужно, так как не *был*, а *будет* Бог все во всем» (1 Кор.15:28), и не о прошедших днях, а о каждом дне, в который мы входим, сказано: «Вот, *теперь* время благоприятное, вот, *теперь* день спасения» (2 Кор.6:2).

Шмелев через русский быт относился к Церкви и Богу. Он был русским и потому не мог без Церкви. Однако чтобы понять себя и Россию, чтобы принять Божий замысел о себе и о ней, надо было прежде по-настоящему войти в жизнь Церкви, и ее взглядом, то есть глазами Божиими увидеть, что есть Его правда. Но это требует от человека полного изменения сознания. По-

гречески такое изменение называется «метанойя», по церковно-славянски – «покаяние». Только через покаяние в грехе, который свмч.Иларион (Троицкий) называл грехом русской интеллигенции против Церкви, можно было достичь этого очищения и преобразования духа. Покаяние же начинается с необходимости увидеть в себе этот грех, ощутить его как грех. Это невозможно без помощи Божией.

Опыт Церкви говорит о том, что Господь и «намерение целует». И.С.Шмелев не искал своего, не преследовал эгоистических целей, он искренне *старался*, и потому в его жизни мы находим удивительные свидетельства Божьего промысла о спасении человека. Переделать в прошлом ничего нельзя, но изменить отношение к сделанному можно, только бы это стало именно покаянным движением души. Грех против Церкви для Шмелева-писателя начался с его первого серьезного произведения «На скалах Валаама». Случилось событие, которое побудило его возвратиться к истокам своей творческой деятельности.

### **«Старый Валаам» (1935)**

В 1934 году Шмелев пишет рассказ-воспоминание «Первая книга», в котором еще раз обращается к истории очерка «На скалах Валаама». Он вспоминает в подробностях о том, как редактор журнала «Русское обозрение», дав согласие на издание очерка, выдвинул условие – изъять из текста около 30 страниц. Причина: редакция не может согласиться с взглядами автора на некоторые стороны монастырской жизни. Речь шла об аскетических подвигах монахов, о благоговении к мощам подвижников и т.д. Юный писатель отказался что-либо убирать и сделал попытку издать очерк в «прогрессивном издательстве», только что прославившемся защитой феминизма. Но и здесь цензура сказала свое слово. Дело дошло до обер-прокурора К.П.Победоносцева, который начертал: «задержать». Пришлось иметь дело с цензором князем Н.В.Шаховским и пойти на уступки: около 20 страниц из текста все-таки изъяли. Когда в таком усеченном варианте книжка вышла в свет, у самого Шмелева уже не лежало к ней сердце.

И когда пришли предложения ее переиздать, он не дал согласия, назвав всю эту историю «ошибкой юности». Из текста рассказа не понятно, что Шмелев называет ошибкой? Содержание книги? Или то, что все же согласился на ее сокращение, изуродовал текст и «книга вышла, израненная, в пластырях»? Рассказ заканчивается словами: «Давно ее не видел – свою *ошибку*. А посмотрел бы» (VIII, 522).

Уже через год его желание исполнилось. В 1935 году известный в среде русской эмиграции писатель Борис Зайцев посетил Валаамский монастырь, откуда привез Шмелеву его же собственную книгу «На скалах Валаама». К тому времени книга стала раритетом, ее невозможно было ни достать, ни купить.

В то же самое время писатель получил письмо от человека, хорошо знавшего Валаамский монастырь и судьбу некоторых его насельников. Среди них оказались и те, о ком упоминалось в очерке «На скалах Валаама».

В частности, в своем раннем очерке юный Шмелев обратил внимание на двух послушников, «рыжего и черного». Они в минуту отсутствия строгого надзора словно забыли о напускной сдержанности и серьезности и несколько вольно стали общаться с молоденькими паломницами. В их поведении писателю увиделось проявление здоровой человеческой природы, которую так жестко и властно подавляет монастырь. Шмелеву тогда были близки взгляды Л.Толстого, считавшего, что нет жизни там, где происходит отречение от жизни. Писатель явно жалел послушников и сочувствовал им.

«Рыжий был в игривом настроении, как молодой жеребенок, которого выпустили на волю. Эти прогулки с богомольцами по уединенным проливам и островам уносили послушника-юношу и ребяташек в длинных рясах из повседневной скучной жизни, из-под надзора бдительных глаз... Можно и пошутить, и побегать, и с девицами на некоторые темы поговорить, разбудить заснувшего человека.» - писал Шмелев в 1887 г. (I, 434-435).

Неизвестный адресат рассказал о том, как рыжий послушник Георгий «впоследствии настолько остепенился, что принял монашество, священство и даже великую схиму и теперь в великом

смирении совершает свой великосхимнический подвиг» (VIII, 422).

Кроме послушника Георгия Шмелев обратил внимание на одного инока с печальным лицом. Из разговора выяснилось, что его и еще одного брата посылают из Валаамского монастыря в Сибирь, в Уссурийский край создавать новую обитель. Инок прощался с родным Валаамом, а юный Шмелев сочувствовал и ему: «Ищет бедный русский человек истины, и ему *кажется*, что он находит ее за стенами монастырскими, в единении с природой, в удалении от жизни» (I, 440). Адресат письма поведал, что два валаамских инока Сергей и Герман замечательно выполнили возложенное на них послушание. Они создали в Сибири монастырь, живущий по валаамскому уставу, поставили на высоту дело просвещения. Игумену Сергию даже предлагалось принять епископский сан за то уважение, которое он снискал своею святостью, однако по глубочайшему смирению он просил оставить его в своем сане. Отец Сергей застал разорение любимой обители большевиками.

И.С.Шмелев был глубоко тронут судьбой валаамских иноков. Он еще раз поразился тому, какую тайну представляет собой человеческая душа. И как можно ошибиться, не увидеть ее истинной красоты, а остановиться на скорой и неверной оценке, исходящей из внешнего в человеке.

Эти воспоминания-переживания подтолкнули Шмелева на переработку очерка «На скалах Валаама». Так в 1935 г. появляется очерк «Старый Валаам».

Замысел Шмелева был прост. Он взял канву раннего очерка и заменил большинство прежних негативных впечатлений от монастырской жизни на положительные. Однако новый очерк получился неоднородным. В нем присутствует не одна, а три авторские позиции. Местами ощущаются «старые дрожжи». Не все понятно Шмелеву в монашеском подвиге и до сих пор. Он готов преклониться перед высотой монашеского духа, но суровая аскетика, постоянное памятование о смерти он пока не может принять даже умом.

Другая позиция – это рефлексия сегодняшнего Шмелева над собой молодым. Он признает, что в студенческие годы, находясь

под влиянием «прогрессивной» мысли, воспринимал все увиденное в монастыре под определенным углом зрения. И сейчас он дискутирует сам с собой, соглашаясь с тем, что монахи-простецы, не наученные в физиологии и социологии, понимают в правде жизни больше, чем высоколобые интеллигенты, верой своей избравшие науку.

Вот «благообразный послушник» произносит молитву, прежде чем войти в комнату, и не слыша в ответ «Аминь» еще и еще раз повторяет ее. Потом объясняет: «На возглас приходящего поаминить надо, без аминя у нас не входят». «Я поражен, обрадован. Какое «уважение к личности»! Мне, студенту, не думалось встретить такое «у святошей»! Я уже разрешил вопросы о «тунеядстве монахов», о «ханжестве», о «ненужности этих пустяков». Чернышевский, Белинский, Добролюбов и все, доказавшие мне «свободу человека от этих предрассудков», т а к о г о никогда не говорили: «Без аминя у нас не входят»! Я готов горячо пожать руку этому новому учителю» (VIII, 365).

«Я вспоминаю, как часто говорилось: «монахи – тунеядцы!» Да как же так? «Все до последнего гвоздочка, сами», «Бог помог», «для Господа трудились». И все без похвальбы, смиренно. Чудеса!» (VIII, 380).

Шмелев видит работающих в кузнице трудников. «Кто они? Питерские рабочие, «все превосходные мастера-специалисты». Глазам не верю: питерские рабочие... мастера?! А как же, все говорили т а м.. на сходках в университете, что питерские рабочие самый оплот в политической борьбе за..? А вот, и они – «во имя», во имя Божие. Я вижу лица, хорошие, светлые, русские, родные, ч е л о в е ч е с к и е лица, добрые, вдумчивые лица. Ни злобы, ни раздражения, ни «борьбы» (VIII, 405).

Вот знакомый нам по раннему очерку иконописец Алипий, окончивший Академию художеств, подававший надежды. Сейчас он пишет иконы, работая по веками устоявшимся образцам. Юный Шмелев раньше негодовал, считая, что монастырь загубил талант свободного художника, вытравил из художника живую душу. Но ему возражают: Валаам освободил живую душу отца Алипия, он ищет в ликах Свет Господень, нетленное пишет. И нынешний Шмелев со-

гласен: «Теперь я знаю: высокое искусство в в е ч н о м».

Часто ловил себя Шмелев на том, что неученые монахи пытаются его чему-то учить. «Тогда я улыбался. Тогда я чувствовал мир, реальный, вот этот мир, и только. И многое объяснял «физиологией». Ныне... Ныне стала скромней сама наука, осторожней: и ей открываются «миры иные» (VIII, 414).

И третья позиция автора – любование монастырем и его насельниками, согласие с их рассуждениями, наставлениями и даже с критикой, «вкушение благодати» от пребывания в святой обители.

Ему уже нравятся даже паломники, о которых он скептически, почти издевательски писал в раннем очерке. «Я вижу слезы, блистающие глаза, н о в ы е лица, просветленные. Стискивает в груди восторгом. Какая сила, какой разливающийся восторг! И – чувствуется – какая связанность. Всех связала и всех в е д е т, и поднимает, и уносит это единое – эта общая песнь – признание – «Единому безгрешному». Все грешные, все одинокие, все притекаем, все преклоняемся... Я чувствую м о й народ. И какой же светлый народ, какой же добрый и благостный» (VIII, 360).

Произведение наполнено такими описаниями: «Чудесная келлейка, белая, светлая, узковатая немножко, правда, - но как чудесно! Две чистые постели. В углу икона знакомых преподобных. Теплится розоватая лампадка. Окно – в цветник. Там георгины, астры, золотисто-малиновые бархатцы, петунии. И – тишина. Направо – собор, над монастырским кровлями, за корпусами. Прямо – дикие скалы за проливом, на них леса. Новый, чудесный мир, который я встречал в детстве, - на образах, - стелющийся у ног угодников... Таинственный мир, чудесный, *детскому глазу видимый, детскому сердцу близкий*. Нам очень нравится» (VIII, 364-365).

Или еще: «Необыкновенное чувство испытываешь, когда увидишь лесную часовенку такую: так вот будто и осветит, и дебри не хмурятся и не пугают глушью, а свято смотрят, в самую душу проникают. И веришь, з н а е ш ь, что все это – Господне: и повалившаяся ель мшистая, и белка, и брусника, и порхающая в чаще бабочка. И постигаешь чудесный смысл: «яко кроток и сми-

рен сердцем»<sup>29</sup>. И рождается радостная мысль-надежда: «Если бы так в с е было, везде, везде... никаких бы «вопросов» не было... а святое братство» (VIII, 443).

Монастырская служба, вызывавшая раньше напоминание о смерти, сейчас показана другой: «Поют старинным, «знаменным» распевом – валаамским. Слышится мне народное, п р о с т о е, трудовое – и грусть, и вскрики. И голоса – простые, простонародные. Слышится мне родное: певали так артелью, у нас, бывало... Мне нравится» (VIII, 381).

А сколько раз в раннем очерке Шмелев жалеет молодых послушников, которых «ломал» монастырский устав, как бунтовало против ограничений молодых порывов его сердце. Сейчас по-другому. «Видно сверху, как на пристани, у пароходика, чинно расхаживают в долгополых рясах и острых шлычках, перетянутые кожаными поясами, мальчишки-монашонки, отданные родителями в духовное наставление на год-другой. Ведут они себя чинно, солидно даже, как настоящие монахи. На их лицах – присматривался я к ним подолгу – залегла несвойственная их летам сосредоточенность, вдумчивость, сознание некоего подвига. Пожалуй, и хорошо это» (VIII, 401).

После посещения скитов, из которых Шмелев прежде бежал, как бы вылезая из могилы, сейчас все иное: «Из этих возвращался я, ч е м - т о исполненный, чем-то н о в ы м, еще неясным... - благоговением?» (VIII, 415).

Эта позиция в очерке доминирует, но именно она вызывает сложные чувства. Ведь речь идет не о новом посещении Шмелевым известного монастыря, а о воспоминании 40-летней давности. И странно читать, как 20-летний Шмелев-студент вдруг стал рассуждать словами 60-летнего Шмелева, писателя, прошедшего сложный и трагический духовный путь.

---

<sup>29</sup> «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф.11: 28-30)



Недавно мне довелось услышать рассказ одного художника на выставке своих картин. Среди них была представлена его дипломная студенческая работа «Смерть Пушкина». Художник признался, что труднее всего ему дался образ жены Пушкина Натальи Николаевны. Он несколько раз переписывал тогда ее лицо, менял положение головы. Но и сейчас он видит, что получилось не вполне удачно. На вопрос ведущего передачи, не хочет ли он вновь внести правку в картину, художник заметил, что картина – это законченное произведение, которое вобрало в себя ее творца таким, каким он был в тот момент жизни. И сейчас, с высоты нового жизненного опыта и большего художественного мастерства он не желает ничего менять в своем раннем произведении. Но чувствует желание написать (а не подправить) совершенно новую картину на эту же тему.

Не таков замысел Шмелева в «Старом Валааме». Он именно *правит* текст, считая возможным сделать его *правильным*. Отчасти потому, что ранний очерк о Валааме и сейчас не воспринимается Шмелевым как то, что достойно сожаления, а, в некоторых случаях, и покаяния, без которого невозможно обрести способность видеть духовную сторону жизни, особенно монастырской. Он и сейчас вспоминает о прежней своей книжке с легкостью, оправдывая себя: «После поездки на Валаам я написал первую свою книжку, юную, наивную немножко, пожалуй, и задорную, - студент ведь был!» (VIII, 422).

Осмысливая значение поездки на Валаам, Шмелев, признает, что многого *тогда* не увидел и не понял, и все-таки эта поездка дала свои ростки в его творческой жизни. Десять лет спустя после трудной попытки опубликовать очерк «На скалах Валаама» Шмелев вновь берется за перо. Толчком к этому стало его мистическое переживание, которое он ощутил во время прогулки по берегу Клязьмы. Он тогда находился в сомнениях, блужданиях, был близок к отчаянию, душа не принимала карьеры чиновника. И вдруг в картинах окружающей его природы он увидел что-то знакомое. Где же все это было прежде? На Валааме. И ему открылся путь – писать. «Связал меня Валаам собой» (VIII, 457).

Сейчас, с высоты прожитых лет, Шмелев благодарит Валаам за творческое вдохновение, за открытие дара писательства. Но на этом не закончатся взаимоотношения Шмелева с монастырем. С годами он все больше чувствовал, что монастырь таит в себе не только то, что может быть использовано в художественном труде, но и что-то самое важное, чего ему не хватало в жизни, и чего он так желал – сердечного мира, покоя, крепкой, неколеблемой веры. В 30-40 гг., особенно после потерь близких людей, он не раз испытывал желание уйти в монастырь, но останавливал себя, чувствуя, что несет в сердце груз, с которым в монастырь войти невозможно.

Но монастырь притягивал его. И когда выдавалась возможность, он с радостью посещал обители, испытывая там реальное укрепление духа. Так, в 1937 г. Шмелев посетил обитель преп. Иова Почаевского, 17 дней жил в келье настоятеля монастыря отца Серфима. Ему, писавшему о Валааме, были чрезвычайно интересны монашеские судьбы. Шмелев проводил время в беседах с иноками, читал им свои произведения, писал очерки для газеты обители. Тогда же он побывал и в женской обители в Карпатах.

Монастыри напоминали ему о России, о прошлом. Но чувствовал он через них еще и то, к чему приближался сам, о чем много думал, что становится темой его размышлений в поздних произведениях – вечную жизнь.

Уже после завершения очерка «Старый Валаам» Шмелев сразу же пишет рассказ «У старца Варнавы», где еще раз вспоминает о том, что предшествовало поездке на Валаам. Он, студент, «почти безбожник, *никакой*», приезжает вместе с женой к старцу Варнаве за благословением на путешествие. Зачем нужно ему это благословение, он и сам толком не знает, ему даже стыдно: «студенту-то благословляться!». Но вспоминая что-то из детства знает: так *надо*. И едет. Старец благословляет их «на путь», и только через годы Шмелев понимает, что он получает благословение на весь *путь*, который пойдет за Валаам, во всю Россию и за Россию. И вспоминает слова, сказанные на прощание старцем: «Ну, живите с Богом» (VIII, 541). Как же научиться всегда жить с Богом?

## **«Куликово поле» (1939- 1947)**

Научиться жить с Богом всегда - можно было, только основав свою веру на более прочном основании, чем уклад жизни, благочестивые добрые старые традиции. «Царствие Божие внутри вас есть» (Лк.17:21) – говорил Господь. И когда рушатся привычные устои жизни пусть даже в веках существовавших формах, устоит в вере тот, кто имеет опыт личной встречи с Царством Божиим, опыт, основанный не на знании, а на приобщении души к Жизни Вечной.

«Царство Божие не в слове, а в силе» (1 Кор.4:20) – учит апостол Павел. Здесь, на земле она открывается как сила Креста Господня. То, что для других является доказательством слабости и поражения, для христиан становится победой и воскресением. И нет другого пути следования за Христом как тот, о котором Он Сам сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф.16:24).

Кресту как призыву, надежде, основе веры посвящен рассказ И.С.Шмелева «Куликово поле». По собственному признанию писателя, никакое другое произведение не давалось ему так трудно, как этот небольшой по объему рассказ. В основе его лежат реальные события, сообщенные Ивану Сергеевичу людьми, честности которых он абсолютно доверял.

В середине 20-х гг. в двух местах: на Куликовом поле и в Сергиевом Посаде (тогда уже – Загорске) произошло явление преп.Сергия Радонежского. Сначала он встретился лесному объездчику (в рассказе – Василию Сухову), только что нашедшему на дороге нателный крест. По всем признакам крест принадлежал одному из воинов, павших в Куликовской битве. Василий просит необычного старца, в котором он чувствует святого, передать этот крест своему бывшему помещику, любителю и знатоку древностей Средневу (его прототипом был граф Ю.А.Олсуфьев), проживавшему тогда с семьей в Загорске. В тот же самый день, а это была Дмитриевская родительская суббота, совпавшая тогда с празднованием 8-ой годовщины октябрьской революции, святой явился в доме Среднева, передал крест, а наутро чудесным образом незаметно покинул дом. Дополнительный смысл происходящему

придает тот факт, что Среднев принадлежал к древнему роду, и, по семейному преданию, его дальний предок участвовал в Куликовской битве<sup>30</sup>.

Это явное чудо поразило Шмелева. Он, недавно похоронивший жену, до сих переживавший потерю сына, вдруг получил свидетельство реальности вечной жизни, возможности общения небесного и земного, участия в нашей жизни тех, кто уже закончил свой земной путь. Сначала писатель воспринимает рассказ о чуде как утешение: он не безвозвратно потерял близких людей, он может общаться с ними, зная, что будет услышан и сам услышит ответ. Перед лицом чуда Шмелев понимает, как глубоко несчастен он тогда, когда прежняя слабая вера, основанная на привычке и подкрепляемая книжным знанием, оказывается неспособной устоять в скорбях. Он, словно евангельский отец, принесший своего одержимого сына, просит у Христа: «Верую, Господи! Помоги моему неверию» (Мк.9:24).

Чудо столь явно и неоспоримо, но писатель еще колеблется. Он, не будучи математиком, стал интересоваться теорией вероятности, беря консультации у своего крестника Ивика. Что такое время? Возможно ли возвращение того, что уже состоялось в прошлом? Если ничего не пропадает, где наше тело после смерти? Веры не хватало, хотелось объяснения. Шмелев признает, что приятие чуда «происходит мучительно, с протестом, как бы с насильем над собой, с *ощупыванием*, и в итоге, как у Фомы, с надрывом и восторгом. Это психологически понятно: празднуется п о б е д а над злейшим врагом – неверием» (XI, 152).

---

<sup>30</sup> О явлении преп.Сергия примерно в то же время рассказывал и известный духовный писатель Сергей Фудель. По его словам, в Сергиевом Посаде до конца 20-х гг. проживал старец Зосимовской пустыни преп.Алексий. «Когда начали открывать мощи, старец очень страдал об этом и много молился, недоумевая – почему Господь попускает такому делу? Однажды вечером, когда он встал на молитву, рядом с ним стал Преподобный и сказал: «Молись три дня и постись, а после этого я скажу тебе то, что нужно». В следующие два дня, когда о.Алексий вставал на молитву, снова вставал с ним рядом преп.Сергий. Отец Алексий эти дни питался просфорой. На третий день Преподобный сказал: «Когда подвергаются такому испытанию живые люди, то необходимо, чтобы этому подвергались и останки людей умерших. Я сам отдал тело свое, дабы град мой во веки был цел» (К свету, № 14).

Это отразилось в рассказе. Главный герой – следователь, привыкший распутывать и логически объяснять все, что другим кажется загадочным и необъяснимым. Сопоставляя факты, он все же приходит к выводу, что здесь было настоящее чудо. Однако И. Ильин, читавший первый машинописный вариант «Куликова поля», чутко заметил: сам автор все еще не верит. Надо принимать приходящее к нам из того мира, не требуя объяснений. Шмелев ответил: «Конечно, Вы правы, да я же и предупреждал Вас, какое во мне томление и сомнение... Бьюсь в сомнениях, не найду простой веры, детской, горкинской».

Работа над рассказом, начавшаяся в 1939 году, продолжалась до 1947 года. Под влиянием замечаний Ильина Шмелев неоднократно переделывает текст. В мае автор сообщил Ильину: «В 10-й раз – ! – и окончательно! – продрал “Куликово поле”».

Но, чем больше Шмелев работал над рассказом, тем шире представлялось ему значение чуда. Люди могут опуститься до страшного «окаянства», зло в России видимым образом торжествует. Ворота Лавры попытались запереть и лампы потушить. Но Лавра стоит и одним своим видом свидетельствует, что никто из «окаянных» не имеет над ней власти, она сильнее. И явление преп.Сергия говорит, что никакими запретами, гонениями и разорениями не воздвигнуть непроходимую преграду для небесного, когда оно хочет быть с земным.

Крест, обретенный на Куликовом поле, стал символом и страдания, и последующей победы. И тогда, и теперь. Особенно поражающе совпадение: Дмитриевская родительская суббота в память о героях, погибших на поле Куликовом, жизнь своих отдавших за победу над смертельным злом для Руси, и «суббота 7 ноября». «Как же не откровение?! не благовестие?! То, давнее, благовестие – преподобного Сергия великому князю Московскому Дмитрию Ивановичу – и через него всей Руси православной – «ты одолеешь!» - вернулось и – подтверждается. И теперь – ничего не страшно... И раньше, до сего, идеалисты, дети родной культуры, мы теперь обрели верную основу, таинственно нам дарованную в е р у» (XI, 187).

И, может быть, самыми сильными образами у Шмелева становятся те люди, которые держатся за Христа до конца, даже когда теряют одну за другой всякую земную опору. Они подобно апостолам, застигнутым на середине озера бурей, находят Христа именно здесь, идущего к ним по водам, в самую сердцевину бури, и укрепляются Его призывом: «Ободритесь; это Я, не бойтесь» (Мф. 14:27). Если надо, они оставляют последнее, как апостол Петр – тонущую лодку, и сами идут ко Христу по водам. И если не отводят от Него взгляда, не отвлекаются на пугающую смертельной угрозой бурю, то доходят до Него. Они одерживают победу, потому что ее уже одержал Распятый и Воскресший Христос, дающий Своим детям быть сораспятым с Ним и войти в радость Его Воскресения.

Таковы старики Василий Поликарпыч и Марья Тимофеевна из рассказа «**В ударном порядке**» (1925). До революции Василий Поликарпыч управлял образцовым имением, известным всей России и даже за границей. Сейчас имение отобрал совхоз, все разграблено и разорено, старики живут на скотном дворе, а хозяйством заправляет, вернее – добивает, товарищ Ситик. Бывший агроном Левон Матвеич рассказывает ветеринару Михаилу Ивановичу, едущему в имение со спецзаданием – вылечить знаменитого жеребца, из-за разгильдяйства получившего страшную травму, о Ситике: «Помните, в зальце-то у них была икона «Все Праздники»? Себе оставил. Думали: ну что ж, хрещеный человек... порадовалась даже Марья Тимофеевна. На редкость ведь! Ну, ризу снял... серебряная, плотная. Смотрю, хлеб на иконе режет! Я ему еще сказал: «Так не годится, мне лучше подарите!» - «Глупый ты, говорит, старик. Я святым делом занимаюсь, хлеб – самое святое дело!» Сукин сын... всю исполосовал, все-то лики исчаряпал как!» (VII, 524). Такие, как Ситик, делали, что хотели, считали, что над всеми людьми имеют власть и всех низведут.

И стариков низвели, думали, что унизили и раздавили. Михаил Иванович ищет стариков, находит в казарме на скотном дворе. Вошел в низенькую комнату.

«У окна старушка, стол, кошка на окне. Я не узнал старушку. Монахиня? Сухенькая, в кулачок лицо...

«Тетя Маша!.. – назвал я, и голос пресекся.

Старушка встала, пригляделась.

«Кто такой.. Господи Иисусе...» - услышал я шепот.

Я – под потолок, под копоть. Она – внизу, держится за стол. Лампадка замигала от прихода. Сердце мое забилось.

«Тетя Маша... я... ветеринар ваш... Миша...»

Рот затянуло у меня, протянул к ней руку; она схватила, узнала Мишу... вся осела, заплакала...

«Мишенька... родной... жив ты, Миша...»

Села на лавку, не могла стоять...

«Тетя Маша... бедная тетя Маша...»

Я ревел, как баба, трясся, рычал, не мог я... Она погладила меня по голове, как в детстве, давно.

«Дал Господь увидеть... всех мы растеряли... Ну, ничего, Господня воля... ничего, Миша.. Ну, не плачь... ну...»

Ничего... живем все вместе... все взяли... Да что... ничего не надо... потеряли всех... Погоди, оправлю е г о... помотришь Он у меня безногий теперь... отходился, Господи... не вникает, Миша... Легче ему так-то... с Покрова уже не говорит, другой удар был... Молочко, спасибо, пьет».

Она пошла за занавеску, к печке, повозилась там. А я смотрел. Иконы смотрели с полок, знакомые, ризы сняли. Голые иконы, а знакомы. И – портреты, рядом. Внуки, сын, Даша, дочки, Василий Поликарпыч, в мундире депутатском, купеческом, пуговицы в ряд, белый пояс, шпага депутата, медаль на шее, три на груди, два ордена – генералом смотрит... На столе Псалтырь, Четь-Минеи, ломтик хлеба, - мухи, мухи...

«Погляди, голубчик... Только не узнает...» - тихо позвала старушка.

Полог откинулся, светло в закутке, - окошко на пруды. На крашеной кровати... на пуховике, под ватным одеялом голубого шелка, белой сорочки разводами, лежал Василий Поликарпыч, красавец ярославец, теперь – апостол, мученик, угодник, - как с иконы, сухой и темный, белая борода клином. Свет от окна сиял на лбу, на шишках костяных, воцеленых. Спал Василий Поликарпыч. Тонкая рубашка, голландская, была чиста, свежа. В прорезе – жарко

было в избе – виднелось тело, черно-медный крестик, давний, деревенский, крестильный. Всю жизнь с ним, ходил по всем дорогам...

Она перекрестила, и мы пошли. Полог задернулся. Как мощи...

Я смотрел на тетю Машу. Другая, старица, русская святая, глаза темней, ушли от жизни, в душу. Лик строгий, вдумчивый. Русская святая смотрит.

Мы не говорили. Все известно.

«Не пойду отсюда. Будут гнать, ляжу на дворе... - говорила она спокойно. – Образа вынесла. Все с нами... - показала она на полки, - иконы, лица. – С Господом всегда... и наши с нами...»

Я стал на колени перед святой и попросил благословить меня. В ноги поклонился. Она благословила, как мать родная. Твердо, нажимая мне на лоб, на грудь, на плечи, как давно, в детстве, она сказала:

«Спаси и сохрани тебя Христос и Пресвятая Богородица!.. Терпи, Миша... не сдавайся греху... Господь взыскует...» (VII, 548-550).

«Ходящими по водам» стали Семен Колючий и Миша Блаженный из рассказа **«Блаженные»** (1926). Семен раньше работал на водокачке, потом подался в революцию. Участвовал в экспроприациях. Убедил группу таких же, как он, напасть на имение одного генерала. С генералом жил его внук Миша. Он во время учебы в кадетском корпусе упал с лошади и оказался парализован. Четыре года лежал без движения. Все это время читал Евангелие и знал его наизусть. Однажды ночью он увидел Христа, сказавшего ему: «Пойди в Силоамскую купель – и исцелишься». На следующий день в имение пришла банда Семена Колючего. Старика-генерала и его внука бросили в пруд. Но случилось невероятное: Миша не только выплыл, но исцелился от своей болезни. Потом пришел на водокачку, принес Евангелие и прочитал Семену про исцеление расслабленного в Силоамской купели. Семена простил. С того времени оба стали неразлучны.

Семен стал проповедовать словом, за что три месяца был под арестом. А Миша Блаженный проповедовал своей жизнью. Рас-



сказчик так описывает его: «Между березками, у пруда, показался тонкий, высокий юноша, весь в белом. Он шел, скрестив руки, смотрел на небо. Когда приблизился, я поразился, до чего прозрачно и светло восковое лицо его, совсем сквозное, словно с картины Нестерова, - до чего далек от земли его устремленный в пространство взгляд. Светлые волосы – бледный лен – вились по его щекам, и был он похож на ангела, что пишется на иконах «Благовещения» (VIII, 199).

По просьбе Семена Миша рассказал, что с ним однажды случилось. Он пришел в деревню Королево, где у председателя волостного исполкома женился сын.

- Было в январе, очень мороз. Я шел по деревне...

- Босой! – восторженно закричал старик, нежно поглаживая мокрые ноги Миши. – А двадцать два градуса мороза было!

- И мне стало больно пальцы. Бабы звали в избу и давали валенки, но я не мог...

- Обет даден! – строго сказал Семен Устиныч. – Пока не расточатся врази Его!..

- Да. Когда Россия станет опять святой и чистой. И вот, мне захотелось войти на свадьбу...

- Был голос ему! «Войди в Содом, где собрались все нечестивые и гады!»

- Да, будто голос: «Иди и скажи святое слово!» И я вошел. Все были нетрезвые и закричали: «Дурак пришел!» И стали смеяться.

- Над блаженным-то! - С укоризной сказал Семен Устиныч, глядя Мишу по голове, любуясь.

- И вылили мне на голову миску лапши... но не очень горячей...

- А он... - закричал, вскакивая, Семен Устиныч, - что же он сделал! Миша, скажи, что ты сделал?!

- Я стал читать им: «Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят...»

- И потом он заплакал! – с рыданием в голосе воскликнул Семен Устиныч, тряся от волнения головой.

- Да, я заплакал... от жалости к их темноте...

- И тогда... Что тогда?!
- Тогда они затихли. И вот...
- Чудо! Сейчас будет чудо!.. Ну, Миша, ну?..
- И тут один из города, матрос Забыкин...
- Зверь! Убивал, как в воду плевал!..
- Да он меня т о г д а, в тюрьме, хотел застрелить, что я был кадетом...
- Вы слушайте... Ну, ну?..
- Он был пьяный. Он встал и... вытер мне лицо и голову от лапши чистым полотенцем. И сказал: «Это так, мы вы-пимши...»
- И еще сказал!.. Это важно!..
- И еще прибавил тихо: «Молись за окаянных, если Бога знаешь... А мы забыли!»
- Мы – забыли!!! А Миша что сказал?! Что ты ему сказал?..
- Я сказал: «Он уже с вами, здесь... и Он даже во ад сходил!»
- Мудрец блаженный! Ну, и что вышло?
- И все затихли. И стали меня поить чаем.
- Но он не пил!!!
- Я не принимаю чая. Я попросил кипяточку, с солью... - сказал, застенчиво улыбаясь, Миша. – И я...
- ...пошел от них на мороз, славя Бога!
- И радостно было мне видеть их лица добрые...» (VIII, 200-202).

Застигнутым на середине озера бурей, стал дьякон из рассказа «**Свет разума**» (1926) (единственный случай в творчестве Шмелева, когда служитель алтаря Господня оказался достойным своего призвания). Действие рассказа относится к Крымскому периоду жизни писателя. Главный герой повествования – дьякон из числа простецов, выходец из мужицкой среды. В прежнее время он ничем не выделялся. Вид: «ясный, смешливый даже. Курносый, и глаз прищурен – словно чихнуть собирается... Лицо корявое, вынуто в щеках резко, стесано топором углами, черняво, темно, с узким-высоким лбом – самое дьяконское, духовное». Пахло от него дегтем, батюшка все советовал побрызгаться резедой. И голос у него был «ржавый».

Но пришла революция со своими испытаниями, и все по-настоящему значимое, прежде бывшее неприметным, открылось в полную свою величину. Отца Алексея вскоре арестовали, и дьякон остался один в храме. На него Господь возложил бремя быть евангельским пастырем добрым, потому что появилось много волков, желающих рассеять и погубить христово стадо.

Дьякон рассказывал писателю: «Принял на себя миссию! Пастыря нет – подпасок. А за меня цепляются. Молю Господа и веду». Он поднял людей на защиту батюшки и сам повез петицию с требованием его освобождения в Ялту. Дошел до главного вершителя судеб – чекиста Кребса. «Мальчишка пустоглазый, а кро-ви выпустил!.. Наган-то больше его. Он – Кребс, а я – православный дьякон. Иду, как апостол Павел, без подготовки, памятуя: осенит на суде Господь! Вонзился на меня Кребс, плюнул себе на крагу от сердечного озлобления, и: «Арестовать! А-а, народ у меня мутить?!»... А я ему горчичник из Евангелия: «Не имали власти, аще не дано тебе свыше!» Так и перевернуло беса!» От неминуемой расправы дьякона спасли рыбаки и матрос Кубышка, которого он также поучал из Евангелия.

Нет батюшки, и дьякон сам читает молитвы в храме, говорит проповеди и уговаривает людей: «Братики, не угасайте! Будет свет!» Боялся он оставить храм без службы: «Отними у народа храм – кабак остался!»

Вскоре появился еще один «волк» - некто Воронов, объявивший о создании своей «церкви» и начавший соблазнять людей новой верой. Сеял смуту и, наконец, увел из храма бывшего учителя Ивана Ивановича Малова. Кребс радовался появлению сектанта: раскачивай лодку.

В праздник Богоявления Господня дьякон выступил на духовную брань с Вороновым. По традиции к берегу моря после службы совершался крестный ход для освящения воды. Туда же пришел Воронов с Иваном Ивановичем, чтобы в тот момент, когда бросят крест в море, совершить свое «крещение» над учителем. Пришел и Кребс с охраной, чтобы посмеяться над верующими. Что делать, как защитить Церковь? Дьякон рассказывает: «И тут во мне закипе-ло... и я воздел руку с орарем и крикнул в ожесто-

чении и скорби, себя не помня: «Богоотступнику и хулителю православной веры Христовой, учителю Малову – анна-фе-ма-а-а!» Тут все смешалось. В порыве веры множество людей бросились в море, куда были опущены кресты, чтобы показать, где народ Божий в сравнении с одиноким учителем, также вошедшим в воду. «Забухали с пристани за крестами человек тридцать! Побили все рекорды! Крик, гам... Побадривают, визжат, заклинают, умоляют! На лодках рыбаки стерегут, помощь подают, вылавливают: которые утопать стали, с ледяной воды, от слабосилия! А там саженками шпарят, гикают... Брызг летит! Народ «Спаси, Господи, люди Твоя» поет всеми голосами... И я кистью окропляю – угрожаю, в гневе, и кругом плач и визг... Три старика и хромой грек-сапожник ринулись. Бабы визжат: «Отцы родные, братики, покажите веру!» А я и кадилом, и орарем, и кистью.... Кричу рыком: «Наша взяла! Во имя Креста Господня, окажи рвение, ребятки!» И доказали!.. Матрос с пункта пришел и сомкнулся с нами, и поздравлял за русскую победу! Праздников праздник получился» (VIII, 226). Кребс ретировался.

А отступник Иван Иванович заболел, на смертном одре призвал дьякона, принес покаяние, и случилось чудо: исцелился и воссоединился с Церковью.

Все земное потерял, принял мученический венец и обрел всего Христа крестьянин Упоров из рассказа **«Свет вечный»** (1937). Он был человек строгих нравов и крепкой веры, так воспитывал и своих четверых сыновей. Впоследствии старший погиб на первой мировой войне, средний ушел с Врангелем, двое остались с отцом.

В 1922 году началось изъятие церковной собственности. Упоров вместе с сыновьями поднял крестьян на сопротивление: «Как можно позволять такое! За Божье дело, за правду душу свою надо положить! От Бога отступиться... чего же тогда останется?!» Дольше всех Упоров с сыновьями держал оборону в храме. Один из сыновей погиб. А отца и младшего сына Андрея арестовали.

Землемер, от лица которого идет повествование, встретил его в тюрьме. «Он поседел, но не поддался, ходил все так же властно,

как у себя». Три дня землемер и Упоров были вместе. Старик чувствовал: «Решат нас, чую... а правду не решат!»

«Он помягчел и посветлел. Все его очень почитали. Даже и те – считались. Комендант, свирепый, на перекличках вычитывал раздельно: «Михаил... Васильевич... - и делал передышку, - гражда-нин У-поров!»... Было даже так. Солдатишка-страж улучил минуту и шепнул: «Может, домой чего сказать, отец... передам я, истинный Бог, все передам».

Упоров говорил землемеру: «Вот, барин, и расхлебываем, а не мы варили. Нам т а к о г о не выдумать: умные наварили, а нам расхлебывать...Ничего, п р о й д е т. Котел наш крепкий, всех не изведешь, з а в а р и м. Смоем грех. Это, барин, уж за в с е расплата».

«Вот тогда я понял, - продолжает рассказчик, - ... не логикой, не плоско, а глубинно... таинственным, духовным зрением, что т а к, неискупимо, не может быть» (XI, 108-109).

Образом веры становится для Шмелева старик в рассказе **«Еловые лапы»** (1947). В детстве он смертельно заболел, и его мать все ходила на могилку к преп.Серафиму. Случилось чудо: мальчик выздоровел. С того времени он вместе с матерью по обету каждый год отправлялись пешком на могилку святого, служили панихиду и приносили еловые веточки из того бора, где когда-то подвизался преп.Серафим – «порадовать». После прославления святого ходили по два раза в год. По смерти матери сын не оставлял семейного обета.

В годы революции началась кампания по вскрытию и осквернению мощей святых угодников Божиих. Мощи преп.Серафима были изъяты и помещены в музей. И вот, бывший мальчик, а теперь уже старик идет за несколько сотен верст, чтобы поклониться преп.Серафиму. Он находит музей и со своим мешочком входит в зал. ««Ответственная» сначала «немножко растерялась», но взяла себя в руки», велела старику отдать ей мешок: «С вещами у нас нельзя!.. Как тебя пропустили?!» Старик отмахнулся головой и сказал «упрямо»: «Не, не дам я тебе мешка!.. Это батюшке Серафиму, память». Она оставила: «Что требовать с такого!,,»

Подойдя к указанной витрине, где были «останки из Сарова», старик трижды перекрестился и положил три земных поклона. ««Ответственная» хорошо не помнила, смотрел ли старик за стеклом... - «кажется, поглядел». Но заметила, что в его бороде блестели слезы... Говорили, что, по ее словам, - «досадно ей как-то было... жалкий, темный народ!»

Положив поклоны, старик снял со спины мешок и стал развязывать... Она сейчас же ему сказала, возвысив голос: «Что?! Что ты?! Нельзя у нас!..» - не знала, что вынет он из мешка, но чувствуя «что-то недопустимое». Старик отмахнулся, хрипнул что-то такое вроде: «Ну, тя!» - схвати мешок за углы и вытряхнул на витрину, на пол... - «е-лки.. и какие-то шишки!..» Она крикнула на него: «Нельзя!.. тут у нас не базар!» Старик – словно и не слышал: ткнулся головой в елки, «потрясся там»... и, стоя на коленях, - «стал тянуть, жалобно-плаксиво»... - передавали музейские шепотком: «...роди-мый ты на-ш... Ба-а-тюшка Серафи-им... пришел к тебе... Ваню-шка-а... по-мню... го-лу-бчик ты на-аш... Ба-атюшка Серафи-им... Угодник Бо-о-жий!».

«Ответственная» ругала старика: «Зачем все это?!» А он ласково ей втолковал: «Еловые лапы это... с самого борку батюшки... любил батюшка свой борок... па-мять наша... в память это ему, по маменьке» (XI, 245-246).

Перекрестился, и ушел с пустым мешком. На следующий год все повторилось. И никто уже не смел ему препятствовать.

В этих рассказах, в других своих произведениях, например, замечательном романе «Няня из Москвы», Шмелев показал мир веры через судьбу конкретных людей гораздо глубже и правдивее, чем тогда, когда он стремился писать о вере *правильно*.

### **«Почему так случилось»**

Годы, потери, болезни, эмиграция, к которой Шмелев так до конца и не привык, тяготы второй мировой войны – все это настраивало писателя на подведение жизненных итогов. Он достиг возраста, когда человек обретает мудрость: утихают страсти, ослабевают земные привязанности, ближе становится Небо, понятнее –

почему именно так сложился жизненный путь. Если человек укоренился в вере, обрел свою опору в Церкви, он стойко проходит последние земные испытания и искушения, которые приносит старость. Но если такой духовной крепости ранее обрести не удалось, человек даже в преклонном возрасте может быть истязаем страстями, доставляющими еще большие мучения, чем прежде, потому что они побеждают его на пороге жизни и смерти.

За три года до своей кончины Иван Сергеевич Шмелев пишет рассказ **«Почему так случилось»** (1947). В основе сюжета – сонное видение профессора, автора одноименного исследования, посвященного размышлениям о причинах революции и её последствиях. Во сне профессора посещает сатана и издевается над всеми его идеалами, показывает ложь жизни и раскрывает свое участие во всех благих профессорских порывах.

Рассказ можно было бы отнести к числу тех, где Шмелев вновь обращается к греху русской интеллигенции, во имя светлых идеалов так много сделавшей для развязывания революции и крушения России. Но есть в рассказе нечто, по-видимому, касавшееся какого-то глубокого духовного опыта. Да, Шмелев тоже сеял «разумное, доброе, вечное», потрудился, «подпарывая ткань», пусть и не так, как «пророки и апостолы революции». Но дело не только в революции. Дело в неспособности той интеллигенции, уповающей на всесилие разума, науки, «различать духов».

Апостол Иоанн предупреждает ищущих Бога: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они» (1 Ин.4:1). Опыт различения духов имеет только Церковь. Он обретается напряженным духовным трудом, в котором человек научается видеть действия «духа лестча» (1 Ин.4:6) в том, что человеку душевному кажется высоким и чистым чувством. Над неумеющим «различать духов» враг может посмеяться, подмешав в благой порыв нечто греховное, которое вызывает даже прилив творческого вдохновения. Особенно эта опасность грозит тем, кто не чужд мистическому чувству, но не имеет духовной трезвости, вырабатываемой годами церковной жизни. Незаметно для себя человек переносит в творчество темный дух, питающийся греховным источником, обнаруживающим свое присутствие

тогда, когда делается попытка искренне говорить о светлых и высоких идеалах. Но в некоторые моменты падший дух делает явным свое воздействие, давая понять, кто и как «ведет» человека там, где, как ему обычно кажется, нет ничего, кроме его личной свободы и Божественного вдохновения.

По-видимому, что-то именно из этого опыта нашло отражение в рассказе «Почему так случилось», а также в последнем крупном произведении Шмелева – романе «Пути небесные». В одном из писем того периода Шмелев приоткрывает это изумление перед своей духовной несвободой, приносящей ему страшное страдание: «Многое во мне рушится, страшно *н а п и с а т ь*. К т о же это *п и с а л* в с е мое?! З а меня?.. Другой я?..<sup>31</sup> Бо-га в себе рушу! И – не страшно. Страшно, когда думаю: *ч т о же останется-то?! ... Мигами в и ж у*, что ни во что не верю».

### ***«Пути небесные» (1935-1948)***

Мы уже видели, как тяжело перенес Шмелев потерю любимой супруги Ольги Александровны, и каково было его духовное состояние в то время. Именно тогда он стал серьезно относиться ко всему, что открывало ему реальность существования неземной жизни, возможность общения с теми, кто сейчас уже принадлежал вечности. Именно здесь надо быть особенно трезвым и принять за правило – не доверять всякому «зову» оттуда, чтобы не стать

---

<sup>31</sup> Об этом действии греха в нас писал ап.Павел, только писал духовно трезво и зряче: «Мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божиим; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим.7:14-24)



игрушкой падшей духовной силы. Шмелев, к сожалению, не миновал этой опасности.

В 1939 году среди почитателей его таланта появилась Ольга Александровна Бредиус-Субботина. Сначала между ними завязалась переписка, потом произошло личное знакомство. Шмелев проникся к ней чувством признательности за моральную поддержку и высокую оценку своего творчества. Вскоре это чувство переросло в страсть. Причем писатель, по-своему сопоставляя некоторые мистические переживания, решил, что знакомство с Ольгой Александровной Бердиус-Субботиной произошло по благословению его покойной супруги Ольги Александровны, которая таким образом дала утешение его измученной душе.

Эта страсть держала Шмелева в плену до самой его смерти. Были периоды, когда он писал по три-четыре письма в день той, которую боготворил: «Я люблю тебя, Гульку, в белом, леснушку - в баварочке, ножку в сквозном чулочке, грудь в обрисовке-чуть - ну, дышит “про себя”... - я всю тебя люблю, моя все-мирка! Ты - одна - во Всем»; «Тебя дала мне Жизнь, не мной ты создана, ты создана Господом, но вымолена, выстрадана мною»; «Ты - свет мой и чистота, ты - Икона мне, и я на тебя молюсь»<sup>32</sup>. Его идеалом взаимоотношения с женщиной являлась семья, поэтому Шмелев настаивал на разводе Ольге Александровны с мужем Арнольдом Бредиусом.

Творческий человек, опьяненный страстью, не называющий ее своим именем и не преодолевающий ее через покаяние и внутренний подвиг, обязательно стремится найти основание своим переживаниям в высокой философии, которую сам умозрительно создает для оправдания своего состояния. Шмелев не просто философствует, он богословствует. Но его богословие не имеет ничего общего с богословием Церкви.

Влечение к конкретной женщине повлекло его к рассуждениям о «вечно-женственном» начале, лежащем в основе всего бы-

---

<sup>32</sup> И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина: Роман в письмах: В 2 т. М., 2003–2004.

тия. «Вечно-женственное... и есть вечно-творящая святая Сила,.. прекрасное Начало... всему творимому, непостижимо влекущее всех и вся, - все освящающее, все - радующее,.. “тайна тайн”, противостоящая инертному, мертвящему, темному... “Вечно-женственным” в Нем Самом - Бог сотворил мир». В этих словах без труда усматриваются духовные искания «Серебряного века», идеи В.Соловьева и его последователей-софиологов, пытавшихся внести в понимание Божественной природы Святой Живоначальной Троицы как бы некую четвертую ипостась, «вечно-женственное начало», называемое ими Софией<sup>33</sup>.

Роман «Пути небесные» как зеркало отразил все, что переживал писатель в последний период своей жизни. Замысел романа был грандиозен. В основе сюжета лежали реальные события, произошедшие с дальним родственником Шмелева Виктором Алексеевичем Вейденгаммером (дядей его жены) и послушницей московского Страстного монастыря Дарьей Королевой (в романе сохранены их подлинные имена).

Инженер Вейденгаммер – позитивист-скептик. «В детстве он исправно ходил в церковь, говел и соблюдал посты; но лет шестнадцати, прочитав что-то запретное, - Вольтера или Руссо, - решил «все подвергнуть критическому анализу» и увлекся немецкой философией. Резкий переход от «нравственного календаря» к Шеллингу, Гегелю и Канту вряд ли мог дать что-нибудь путное юному уму, но и особо вредного не получилось: просто образовался некий обвал». Юный Вейденгаммер « в церкви, в религии... уже не нуждался». Он утвердился в мысли, что Богу достаточно поклоняться в духе (XII, 6)<sup>34</sup>.

Пройдя через серьезное увлечение нигилизмом и атеистической материалистической наукой, Вейденгаммер дошел до кощун-

---

<sup>33</sup> Богословие софиологии Церковь всегда считала ересью. См.: Лосский В.Н. Спор о Софии. Статьи разных лет. М., 1996.

<sup>34</sup> Описание духовного мира юного Вейденгаммера дается не прямой речью, а словами самого писателя. Поэтому бросается в глаза его оценка произошедших изменений – ничего «особо вредного не получилось». А получилось одно – человек отошел от Церкви, и в этом не видится писателю ничего «особо вредного». Здесь снова прослеживается взгляд Шмелева на то, что понятие веры и Церкви не являются жестко связанными между собой.

ства, «до скотского отношения к религии». В нем нарастала, по его словам, «похотливая какая-то жажда-страсть все решительно опрокинуть, дерзнуть на все, самое-то священное... духовно опустошить себя». Глубоко погружаясь в дух «борцов за свободу мысли», он «испытывал как бы хихикающий восторг». В конечном итоге, Вейденгаммер пришел к выводу: «Нет ни Бога, ни дьявола, ни добра, ни зла, а только – «свободная игра явлений». И все. Ничего «абсолютного» не существует. Вселенная – свободная игра материальных сил» (XII, 7). И отношения с той, которая стала его женой, он определил как зов естественного отбора, «физиологический закон». Вскоре его жена услышала «зов» с другой стороны, и он потерял семью.

При всем этом Вейденгаммер пытался размышлять о законах, управляющих силами вселенной, постичь «пути небесные». Однажды он испытал сильное мистическое переживание, которое показало ему ничтожность человеческой возможности объяснить тайны бытия. Открывшееся настолько подавило его, что он решает покончить с жизнью. И только неожиданная встреча с бедной девушкой-золотошвейкой Дарьей Королевой удержала его от этого шага. Возникшее вскоре чувство к ней наполнило его жизнь новым смыслом.

И все было бы прекрасно, если бы не одно обстоятельство – Дарья поступила в число насельниц московского женского Страстного монастыря. Вейденгаммер не только не оставляет ее в покое, но начинает ее добиваться и, в конечном итоге, уводит из монастыря. Все, что произошло дальше, является расплатой, заканчивающейся гибелью Дарьи. Но через ее смерть Вейденгаммер приходит к вере, покаянию, а затем уходит в монастырь. Таков полный замысел романа, который должен был состоять из четырех томов. Шмелев успел написать только два из них, поэтому действие обрывается на том моменте, когда Дарья еще была жива, и уже началось обращение Вейденгаммера к вере.

Роман «Пути небесные» оставляет двойственное впечатление. Некоторые исследователи творчества Шмелева дают ему такую оценку: «Роман стал уникальным явлением в русской литературе: в основе раскрытия судеб и характеров лежит святоотеческая

культура, православное аскетическое мировоззрение. Его внутренним сюжетом является «духовная брань» героев со страстями, искушениями и нападениями злых сил. Даринька — новый для русской классики тип глубоко воцерковленного человека. Молитвенный подвиг, упорная и жестокая борьба с грехом в себе и внешними соблазнами, скорбь от тяжких падений и духовная радость побед, благодатные озарения — эти моменты нашли многогранное воплощение на страницах последнего романа писателя» (О.Н.Михайлов).

С такой оценкой сложно согласиться. Не вызывает сомнения благое намерение Шмелева показать «пути небесные» как действие Промысла Божия в жизни человека, возможность выйти из глубокой пропасти падения к ведению Бога и спасению души. Наверное, это было бы особенно убедительно, если бы роман был полностью окончен. Но одного намерения, даже замечательного, для такой цели мало. Писатель взял на себя огромную ответственность — рассказать о духовной борьбе в человеке. *Правду* здесь может открыть только тот, кто сам одержал победу в этой борьбе. Иначе более выпуклым и привлекательным окажется не то, как достигнута победа, а то, как совершилось падение. Шмелев хотел писать о победе, но сам пока хорошо знал опыт поражения.

Страшной силой обладает описание той страсти, которую Вейденгаммер испытывал к послушнице монастыря, 17-летней девушке-ребенку Дашеньке Королевой. Вейденгаммер сравнивает себя с лермонтовским Демоном<sup>35</sup>: «Я кружился у монастыря как лермонтовский Демон, и посмеивался — язвил себя. И чем больше кружил, тем больше разжигался. Тут столкнулись и наваждение, и... как бы при-вождение. Меня в е л о... Было во мне и поджи-

---

<sup>35</sup> Обращение к «Демону» Лермонтова вряд ли можно считать случайным. М.Ю.-Лермонтов относился к числу тех писателей, для которых тема демона являлась одной из основных на протяжении всего периода творчества. Над неоконченной поэмой «Демон» он работал более 10 лет, написал 8 ее редакций. Он сделал также два прозаических наброска плана поэмы. Во втором он так описывает сюжетную линию: «Демон влюбляется в смертную (*монахиню*), и она его наконец любит, но демон видит ее Ангела Хранителя и от зависти и ненависти решает погубить ее. Она умирает, душа ее улетает в ад, и демон, встречая Ангела, который плачет с

гающее, «бесовское», что вот, мол, я, демон-искуситель, преступлю! Некое романтическое ухарство. И – присутствие с и л ы, которая ведет меня, и я бессилен ей сопротивляться» (XII, 28-30).

Еще в XIX в. многие русские писатели и поэты обращались к культу демонию. По словам И.Ильина, они не замечали, что эти опыты «становятся проповедью человеческого самообожествления и оправданием, то есть разнузданием, человеческой порочности... Можно было бы сказать, что демонический человек заигрывает с сатаной; играя, он «облекается в него», вчувствуется в него, рисуется его чертами, он тяготеет к сатане: испытывая, наслаждаясь, предчувствуя ужас и изображая его, он вступает с ним (по народному поверью) в договоры и, сам не замечая того, становится его удобным «жилищем»<sup>36</sup>.

В словах И.Ильина звучит строгое предупреждение к тем писателям, которые хотят в подробностях изобразить, как происходит пленение человека демонической страстью: есть опасность «вчувствоваться в него» настолько, что описание станет обладать способностью духовного заражения, явит «сладость греха». И прежде, чем откроется губительность греха, нечто грязное успеет коснуться души человека, который доверился опытности писателя, полагая, что он знает, как не повредить душе.

Однако Шмелев не знает, как не повредить душе человека, и потому бесстрашно описывает развитие греховной страсти Вейденгаммера, доходящей до кощунства, когда тот начинает переносить слова церковных молитв, посвященных Божией Матери, на предмет своего вождения. Известно, что греховная страсть обладает свойством заражения. Она передается от Вейденгаммера Дарье и обрекает на многие искушения и муки. Описание их занимает почти весь первый том романа. Чего стоят одни названия его глав: «Искушение», «Грехопадение», «Темное счастье», «Соблазн», «Наваждение», «Прельщение», «Злое обстояние»,

---

высоты небес, упрекает его язвительной улыбкой». «Демона» Лермонтов писал в течение почти всей недолгой поэтической жизни. И, конечно, его волновала не участь павшего ангела, а его собственная участь. И одним из самых мучительных его состояний была нравственная несвобода, пленение духом нечистоты.

<sup>36</sup> Ильин И.А. О демонизме и сатанизме // Собр.соч.: В 10 т. М., 1996, т.6.

«Обольщение», «Метанье», «Дьявольское поспешение», «Помрачение», «Отчаяние», «Исступление», «Прелесть».

И здесь следует признать, что тема соблазна грехом волновала Шмелева на протяжении почти всего его литературного творчества. Какую надо иметь духовную трезвость для того, чтобы говоря о соблазне, не соблазнить. Есть строгие Евангельские слова: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф.18:6-7).

В более раннем романе Шмелева «История любовная» (1926-1927) соблазн юного человека также описан с исключительной силой. Одна из тех, на кого обратился его соблазн, служанка Паша спасается от духовной гибели в стенах монастыря. В «Путьх небесных» уже и монастырь не уберет Дашеньку. Шмелев пытается в истории Дарьи показать преображающую силу страдания и покаяния. Он силится увидеть нечто святое в ее духовных муках. В письме к О.А.Бредиус-Субботиной писатель говорит о своем понимании пути Даши: она представляет собой «звено от женщины - к все-женщине, к ангело-женщине».

Но жизнь Даши после ухода из монастыря лишь еще раз показывает истинность опыта Церкви, о котором говорит апостол Иаков: «В искушении никто не говори: «Бог меня искушает»; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные» (Иак.1:13-16).

Даша была обманута, обманывался и Вейденгаммер, полагая, что любовь сама по себе очистит их и принесет счастье. Уйдя из монастыря, Даша так и не дошла до другого спасительного берега – законного супружества. Вейденгаммер, не расторгнув своего брака, предложил ей считать себя его «женой до смерти». Не став супругой, Даша лишается затем и дара материнства, что сопровождается гибелью младенца. А затем и сама трагически погибает.

ет (так было в реальности, так должно было быть показано и в романе). И странно думать, что вот таким и должен был стать ее путь, таков и был Промысл Божий о ней. Потому что Сам Господь говорил Своим ученикам: «Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать» (Лк.9:56). Таким знает Своего Бога Церковь и молится Ему: «Ты бо рекл еси, Человеколюбче, пророком Твоим: «Яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратится и живу бытии ему». Не хощещи бо, Владыко, создания Твоею руку погубити, ниже благоволиши о погибели человечестей, но хощещи всем спастися и в разум истины прийти» (молитва свт.Василия Великого).

Второй том незавершенного романа заканчивается тем, что Даша дарит Виктору Алексеевичу Вейденгаммеру Евангелие, и «с того часу жизнь их получает путь,.. начинается «путь восхождения», в радостях и томленьях бытия земного» (XII, 604). И, закрыв последнюю страницу, не зная того, что было потом, читатель вправе подумать, что можно совершать «путь восхождения», преступая заповедь Божию «Не прелюбы сотвори». Весь второй том в противоположность первому говорит о преобразении, прикосновении к святине, благодати, близости Неба. Вот названия некоторых его глав: «Благовестие», «Благословенное утро», «Святитель», «Откровение», «Высшая гармония», «Земной рай», «Псалмы», «Аллилуия», «Воскресение из небытия», «Свет из тьмы», «Спокойствие», «Преодоление», «Побеждающая», «Чудесное», «Из уст младенцев», «Чистейшее», «Высота, чистота, недосыгаемость», «Пути в небе». Но о каком покаянии можно говорить, когда у истинного покаяния, как учит Церковь, два крыла: «Прости, Господи» и «Я больше не буду». Если есть только одно «прости», но нет «я больше не буду», человек подобен птице об одном крыле, которая никуда взлететь не может. Или лодке, на которой гребут одним веслом, и она обречена кружить на месте. О каком преобразении можно говорить, когда все в жизни Даши и Вейденгаммера осталось, как и прежде, за пределами благословленных Богом отношений. И как бы они не были по-земному красивы и умирительны, это не меняет страшной сути: они нарушают заповедь. Но еще первому человеку было дано знать от Господа, что исполнение заповеди

есть жизнь, а нарушение – смерть («А от древа познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт.2:17)). Церковь всегда исповедовала неизменную истину: **«Добро, которое сделано не добрым образом, не добро»** (преп.Симеон Новый Богослов). И реальная судьба Даши Королевой – еще раз тому подтверждение. Нельзя создавать иллюзию того, что искренними намерениями на ложных основаниях можно совершать «путь восхождения».

\* \* \*

Словно о таких людях, как И.С.Шмелев, писал свт.Иларион (Троицкий): «Церковь подобна крепкому дубу, а человек вне Церкви подобен летящей птице. Посмотрите, как бьется несчастная птица, когда она летит при сильном ветре! Как неровен ее полет! То она взлетает вверх, то опрокидывает ее вниз, то подвинется она немного вперед, то снова относит ее далеко назад... Но как птица успокаивается в густых ветвях дерева и мирно смотрит из своего убежища на несущуюся мимо бурю, так и человек обретает мир, когда прибегает к Церкви»<sup>37</sup>.

Поразительно, что местом, где Господь упокоил душу Ивана Сергеевича Шмелева, стал монастырь. Именно монастырь, не понятый в своей сокровенной сути и искаженно описанный в первом его произведении, не защитивший от искушения замечательного человека Дашу Королеву в последнем его произведении, принял самого Шмелева в тот момент, когда ему пришел срок перешагнуть порог вечности. Для продолжения работы над последующими томами романа Иван Сергеевич приехал 24 июня 1950 года в обитель Покрова Пресвятой Богородицы, расположенный в 140 км от Парижа. В тот же день сердце его остановилось, он отошел ко Господу. Присутствовавшая при кончине Шмелева монахиня Феодосия позже написала: «Мистика этой смерти поразила меня – человек приехал умереть у ног Царицы Небесной

---

<sup>37</sup> Свмч.Иларион (Троицкий) Христианство или Церковь? // Он же. Без Церкви нет спасения. М.-СПб., 1999, с.115-116.



под Ее Покровом». А в мае 2001 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II прах семьи Шмелевых был перенесен на родину, в некрополь Донского монастыря в Москве. Так для Ивана Сергеевича Шмелева закончились «пути земные», на которых мы стремимся к правде, но, чаще всего, «видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно», и начались его «пути небесные», где встретимся с Истиной «лицом к лицу» (1 Кор.13:12).

## **ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

“Scriptura est non in legendo, sed in intelligendo”  
[Писание не в чтении, а в понимании].

Свт. Иларий

На протяжении нескольких лет коллектив педагогов Вятской православной гимназии обсуждает проблему воспитывающего образования. Основная мысль проста и понятна: воспитание должно осуществляться не только отдельно от обучения, но, и в первую очередь, через обучение. Однако при переходе к конкретным предметам школьной программы возникает множество проблем: как на практике осуществить воспитывающее образование?

Среди предметов, обладающих особой воспитывающей силой, выделяется литература. Мы не раз обращались к вопросу о том, что значит – изучение литературных произведений в школе. Сложность заключается в том, что литературные произведения нужно не только читать. Перед учениками ставится особая задача – понимание прочитанных текстов. Здесь имеется в виду не то первичное понимание, которое возникает при работе с любым видом текста, когда требуется понять содержание написанного, чтобы получить дополнительное знание. Понимание художественных текстов предполагает их толкование, то есть такое глубокое душевное движение, внутри которого открывается смысл: смысл произведения, а через него – смысл жизни человека.

Очевидно, что учитель литературы должен хорошо осознавать, как и чем обеспечивается такое душевное движение в нем самом и в ученике, иначе чтение произведения и работа над ним сведется к банальному записыванию чужих мыслей, которые никак не отозвались в душе ребенка.

Когда учитель работает на понимание текста, он восстанавливает авторский замысел, объясняет мировоззрение читателя той эпохи, когда было написано произведение, встраивает текст в контекст истории литературы. Все это важно, но недостаточно, так как требуется большее – находить ответы на вопрос, в чем состоит смысл человеческой жизни и какое отношение это имеет к жизни ученика.

Чтобы вести ученика по пути поиска, учитель должен сам задуматься над фундаментальным вопросом: смысл бытия **вкладывается** в бытие самим человеком, или он в бытие **есть** (вложен) поверх всякой человеческой деятельности?

Первый вариант, философски осмысленный И. Кантом, стал творческой парадигмой западной культуры. Здесь смысл понимается, как некоторая сетка, которую человек набрасывает на действительность в своем сознании, чтобы упорядочить ее для собственных действий. Этот подход предполагает наличие множества таких сеток, систем ценностей, каждая из которых не только имеет право на существование, но и равноценна по отношению к остальным.

Но если человек, не производит, а выявляет смысл в действительности, вложенный туда не человеком, а Богом, тогда осмысление становится возможным только в соотношении всякого текста с тем, что мы называем Христовой правдой.

Таким образом, ко всякому творчеству мы можем подходить двояко. С одной стороны, необходимо уметь увидеть его в его собственной глубине и неповторимости, услышать то, что *только оно* вносит в нашу жизнь. С другой стороны, надо научиться соотносить это творчество с правдой Божией об этом мире и человеке.

Большую помощь в осмыслении фундаментальных установок понимания текстов может оказать работа свт. Николая Серб-

ского «Слово о Законе. Номонология». В ней содержится библейское, святоотеческое понимание законов, по которым живет человек и весь мир. Мысль свт.Николая очень проста: нет законов, есть Закон и его Законодатель – Бог. Закон Божий, положенный Творцом в основание бытия всего – это нравственный закон: «Никаких других законодателей, кроме Бога, Библия не знает и ни о каких других законах, кроме нравственного, не говорит»<sup>38</sup>.

В своей творческой деятельности люди тоже создают законы, но их значимость зависит только от того, как они соотносятся с законом Божиим. «Создавая законы, люди как законодатели (лишь называемые так) или озвучивают закон, данный Богом, или перефразируют его, разделяют и мельчат, чтобы применить к разным случаям жизни. Разумеется, где свобода, там и злоупотребление. Люди зачастую злоупотребляли как законом Божиим, так и своей законодательной властью, и навязывали обществу свои законы, выгодные лишь им самим, оскорбляя тем самым Бога и унижая ближних своих»<sup>39</sup>.

Святитель на многих примерах показывает, как складывалась судьба отдельных людей и целых народов, когда они следовали закону Божию или, напротив, нарушали его.

Для учителя литературы это знание позволяет соотносить мировоззрение автора, жизнь его литературных героев с неизменным нравственным законом, когда и учитель, и ученики знают действие этого закона, результаты следования или противления ему, помня при этом, что и сами они находятся в пространстве данного закона.

Дополнительную сложность понимания художественных произведений представляет различное отношение их авторов к божественному нравственному закону. Свт.Николай Сербский дает метод работы с различными по нравственным установкам авторов текстами. Он пишет: «Человек принимал и усваивал закон, данный Богом, или полностью, или частично, или никак. В последних двух случаях человек пытался и сам быть законодателем

---

<sup>38</sup> Свт.Николай (Велемирович). Слово о Законе. Номонология. М., 2005, с.14.

<sup>39</sup> Там же, с.15.

для себя и других. Но на этом поприще он должен был, рано или поздно, ощутить свою немощь, осознать свое падение и отпадение от Бога»<sup>40</sup>.

Исходя из этих слов, мы можем выделить три группы текстов художественной литературы, авторы которых принимали и усваивали божественный нравственный закон «полностью, или частично, или никак».

Тексты, созданные авторами, система жизненных ценностей которых строилась на законе Божиим, имеют для толкователя и его учеников наибольшее нравственное значение, потому что в действиях литературных героев действие этого закона показано наиболее ясно и точно. Таковы произведения Ф.М.Достоевского, позднего Н.В.Гоголя, В.А.Никифорова-Волгина и др.

Гораздо сложнее толковать художественные тексты, авторы которых лишь частично принимали божественный нравственный закон. Таковы были те, кто называл себя представителями гуманистического направления, в том числе на протяжении значительного периода своей творческой деятельности – Иван Сергеевич Шмелев. Для гуманистов нравственные установки, имеющие, несомненно, христианское происхождение, теряют безусловную опору в Боге, и вместе с этим уходит высший смысл человеческой жизни, выводящий человека за пределы его земного бытия. Гуманист, изображая жизнь, не сможет избежать трагизма, тупика, в который вместе с его героями читателя заводят страдания и неизбежность смерти. Этот тупик обесмысливает жизнь, несмотря ни на какие призывы потрудиться ради счастья будущих поколений.

Герои в произведениях гуманистов, кажется, стараются действовать по совести, в соответствии с общечеловеческими нравственными установками. Но поскольку автор сам принимает божественный нравственный закон лишь частично, он изымает из него краеугольный камень, о котором сказано: «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла: это - от Господа» (Пс.117,22-23). Этим камнем является Живой Бог, Бог как Лич-

---

<sup>40</sup> Там же.

ность, любящий каждого конкретного человека и постоянно участвующий в его жизни, Бог, являющий полноту Своего присутствия здесь – в Своей Церкви. Трагична судьба некоторых гуманистов, таких, например, как Л.Толстой в последний период своей жизни, которые захотели отделить Христа от Его Церкви, сочинить свое Евангелие<sup>41</sup>.

Совесь, общечеловеческие нравственные установки, лишённые живого присутствия в них Бога, не поставленные на церковные основания жизни, не могут служить верным мерилom нравственности. Об этом размышляет свт.Николай Сербский: «Что же делать, когда кто-то совершил злое дело, но в свое оправдание говорит, что поступил по своей совести? Или как быть в том случае, когда двое мыслят и поступают совершенно по-разному, но оба твердят, что делают так «по своей совести» или, что еще хуже, «по своему убеждению», т.е. по заключению своего ума? Всем им можно сказать одно: совесть ваша должна оцениваться и взвешиваться Евангелием. Совесть спорна. Но Евангелие бесспорно. Если ваша совесть противится Евангелию, тогда она – ваш слепой поводырь, советник ада...

А как и что думать о людях, которые хвастаются, что не лгут, не крадут, не прелюбодействуют, но между тем отрицают Христа и Его Евангелие? Да то же самое, что мы думаем о еврейских старшинах, которые хвалились законом, но в то же время осудили Господа Славы на смерть и распяли на Кресте»<sup>42</sup>.

Он делает вывод: «Тогда ясно, что люди не могут прислушаться к совести, не имея в себе Христа и вопреки Христу. Тогда ясно, что никакой закон не несет спасения, если он лишь в формах и параграфах, выхолощен от Христова Духа»<sup>43</sup>.

Совсем невозможно положительно толковать произведения тех авторов, которые «никак» не усвоили закон, данный Богом.

---

<sup>41</sup> Имеются в виду работы Л.Толстого «Соединение и перевод четырех Евангелий» (1880-1881), «Краткое изложение Евангелия» (1881-1883).

<sup>42</sup> Свт.Николай (Велемирович). Указ.соч., с.98-99.

<sup>43</sup> Там же, с.99.

Такие авторы – сами для себя боги, создающие свои творческие вселенные, где они – одинокие жители. Наиболее ярким и впечатляющим примером является «серебряный век» отечественной литературы с его футуристами-«будетлянами», имажинистами, символистами и проч.

Особо следует остановиться на тех, о ком Священное Писание говорит: «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю» (Ос.8,7). Это писатели, которые не только совершенно сознательно отвергают закон Божий, но и пытаются убедить в существовании самостоятельного демонического закона, стараясь сделать его привлекательным. Чтение такой литературы для человека, особенно юного, разрушительно. Свт.Николай Сербский предупреждает: «Где бы та буря не обрушивалась на человека, она оставляла после себя крушение и отвержение всего возвышенного, всего божественного в нем, в отношениях между людьми. От всего благородства, выпестованного христианским духом и моралью в древние времена, осталось лишь нечто отдаленно напоминающее ниву, побитую градом. Ложь и насилие выползли из потайных нор и нагло и хвастливо зашагали среди бела дня по широким улицам, рядясь в тогу «натурализма». «Натурализм» в литературе стал означать описание аморальности, в искусстве и моде – бесстыдство оголения, в гостях и дома на кухне – презрение к посту, в браке – плотскую, скоро расторгаемую связь, в семье – самоволие молодых, в делах – состязание в обмане, в обществе – борьбу во что бы то ни стало, в политике – стремление к власти и обогащению, в международных отношениях – захват чужого либо искусным обманом, либо силой»<sup>44</sup>.

При выборе художественных произведений для чтения в школе, педагог должен понимать, что они далеко не равноценны для учащихся в нравственном смысле. Надо по возможности отдавать предпочтение книгам, которые в особенном, глубинном смысле являются религиозными. Прот.Александр Шмеман, размышляя над романом Б.Пастернака «Доктор Живаго», писал: «Конечно, это книга религиозная, но не в том смысле, что речь в ней

---

<sup>44</sup> Там же, с.114-115.

идет о религии, а в том, что в ней все *отнесено* к некоей последней, духовной глубине, к какому-то основному, в пушкинском смысле этого слова, *важному* вопросу. Люди, и события, и природа – все здесь живет и движется как бы на фоне чего-то другого, и это другое, не объясненное, но показанное, придает смысл и важность всему, что совершается, и – таинственно присутствуя, - указывает на значимость всего...

Можно *видеть* и можно *созерцать*. Созерцать нельзя без «видеть», но можно видеть и «не созерцать». Только умеющий созерцать может «познать реальность до конца и значит познать ее смысл, ее последнюю сущность...

Но ведь это и есть религиозный, более того – нарочито христианский подход к жизни и человеку. Еще в Евангелии сказано: «Глазами смотреть будете – и не увидите» (Мф.13:14). В человеке Иисусе из Назарета Галилейского можно увидеть, но можно и не увидеть Сына Божьего. Для того чтобы увидеть, нужна глубина взора, нужно созерцание в глубочайшем смысле этого слова. И это созерцание и есть основной ход веры, определяющий собой все остальные «ходы» и весь вообще подход к реальности»<sup>45</sup>.

Литература должна учить человека жизни, жизни не придуманной, а реальной, такой, какова она есть в свете правды Божией. Если учитель ставит перед собой такую задачу, тогда уроки литературы выполняют свое высокое предназначение.

---

<sup>45</sup> Шмеман Александр, прот. Пастернак // Собрание статей. 1947-1983. М., 2009, с.824-825.

*Протоиерей Гомаюнов Сергей*

# «ВНИДИ И В МЕНЯ, ГОСПОДИ!»

*Вера и Церковь в творчестве И.С.Шмелева*



НП “Издательство “Буквица”

Сдано в набор 14.09.2009. Подписано в печать 05.10.2009.  
Гарнитура Peterburg. Печать офсетная. Бумага офсетная 65 г/м<sup>2</sup>  
Тираж 300 экз. Заказ № 2940

Отпечатано в полном соответствии с качеством  
предоставленного материала в типографии ООО “ОРМА”,  
610044 г. Киров, ул. Луганская, 51г